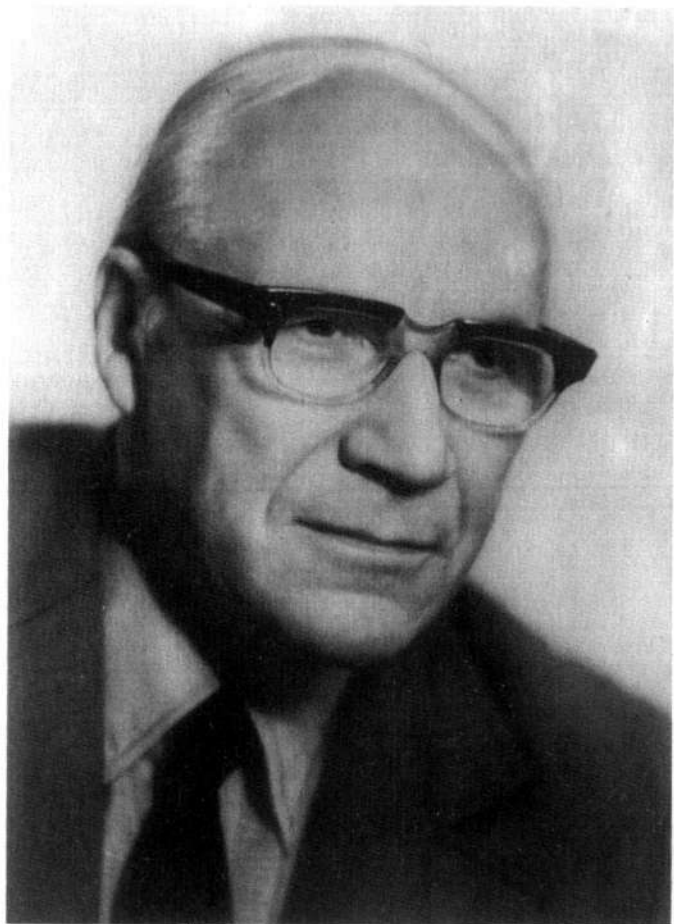


Алексей Спешнев





Алексей Спешнев



ТРИПТИХ

повествование в трех частях

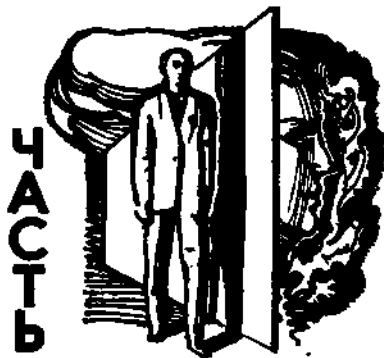
Москва
Советский писатель
1986

ББК 84.Р7
С 71

Художник
НИКОЛАЙ СЕРЕБРЕКОВ

4702010200—436
С ————— 146—86
083(02)—86

© Издательство
«Советский писатель», 1986 г.



ПЕРВАЯ

В вагоне-ресторане она сама заплатила за обед и спокойно отклонила мой протест. Мы поднялись, но в эту минуту поезд нырнул в тоннель, и нас обступила гремящая тьма. Неустойчивый желтоватый свет долго не зажигали. Мы стояли в проходе между столиками.

Я спросил:

— Как вас зовут?

— Адриана.

Поезд вырвался из тьмы и гула, и потоки солнца ослепили нас, и я увидел, что Адриана улыбается. На ней были черный свитер и узкие брюки — одежда современной молодой женщины, которая уверена, что отлично сложена. Близоруко щурясь, она поправляла свои тяжелые бронзово-рыжие волосы.

Меня поразило ее сходство с Надей и тотчас отбросило назад, в смутный мир наших с Надей отношений.

— Что-нибудь случилось? — спросила Адриана.

— Все в порядке, — сказал я.

Когда мы возвращались в свой СВ через бесконечные вагоны, полные молодых болгар, отработавших срок контракта в Советском Союзе, я думал, что эта моя поездка за границу занимает меня не только предстоящим участием в кинонеделе и почетной необходимостью прочесть вступительный реферат на симпозиуме, посвященном проблемам киноискусства в современном мире, но и возможностью найти на юге Надю, ставшую сотрудницей Международного института человека.

Когда мы, качаясь, переходили с Адрианой гудящие гармони между тамбурами со скрежещущими и зыбкими железными мостиками, она брала меня за руку и, легонько вскрикивая, бормотала что-то по-румынски.

В нашем купе пахло ее духами и шубкой, висящей на плечиках, и нагретым каучуком, словно горели провода. На столике позванивали два стакана с недопитым чаем, и лосьон Адрианы в синем высоком флаконе, и мои небритые бритвенные принадлежности — это нас с ней каким-то непонятным образом сближало. Купе было четырехместным, одна верхняя полка была опущена, а другая завалена бесконечными целлофановыми пакетами и дорожными сумками моей попутчицы.

— Вот мы и вернулись домой. — Адриана забилась в угол у окна, скинула туфли и поджала под себя ноги в красных шерстяных чулках.

Я вынул из портфеля папку с записями и вырезками и стал их перебирать.

— Вы работаете? — Адриана закурила сигарету.

— Все еще надеюсь создать что-нибудь прекрасное, — усмехнулся я.

— Прочтите, пожалуйста, если это не государственный секрет, запись, которую вы держите в руках. — Адриана говорила по-русски с легким приятным акцентом.

Эта странная просьба опять напомнила Надю, и мне захотелось послать Адриану к черту.

— Вам интересно?

— Да, как ни странно.

Я пожал плечами.

— Это не государственный секрет, а реплика для персонажа. — И я прочел: — «Сперва нет денег, но много времени. Потом нет ни времени, ни денег. Потом есть деньги, но нет времени. Наконец, есть и время и деньги, но приходит последний час — остаются одни деньги. Жизнь кончилась».

— Вы бывали на Западе?

— Да. А почему вы об этом спрашиваете?

— Ваша грустная запись справедлива.

Я поднял голову и, глядя на ее строгое прекрасное лицо, сказал:

— Расскажите лучше о себе, Адриана.

— Это неинтересно. Жизнь обремененной заботами женщины. Мужчины теперь не могут нас прокормить... или не хотят... Сами знаете, что вы сделали с женщинами.

— Не уверен, что понимаю вас.

За окном неслись темнеющие деревья и плыли дальние леса, небо становилось сумрачно-лиловым.

— Вы писатель? — спросила Адриана, зябко накрываясь курткой.

— Был когда-то. А теперь вот ставлю фильмы... Моя страсть — сочинение сюжетов и новых способов кинорассказа... Простите за самонадеянность.

— В этой вашей папочке тоже всякие новые идеи?

— Чехов говорил: литератор должен иметь сто сюжетов...

Прекрасное лицо Адрианы стало серьезным.

— А что вы думаете обо мне?

— Вы очень красивы, Адриана. Но, к несчастью, похожи на женщину, которая меня отвергла.

— Завтра утром мы простимся,— сказала она,— и со мною вместе исчезнут ваши грустные воспоминания.— Помолчав немного, она спросила:— А какой фильм вы хотели бы поставить? О ней?

— Никогда. Я нашел сюжет, который, может быть, поможет мне выразить драматизм века. В прошлой картине мне это в полной мере сделать не удалось.

— Мне кажется,— тихо произнесла Адриана,— все люди сейчас живут в состоянии тихого отчаяния. Во всяком случае на Западе. Я недавно была у родных в Италии, а потом в Америке. Пережила страшные сутки, когда Нью-Йорк остался без электричества. Это было ужасно... А как зовут женщину, похожую на меня?

— Надежда. Надя.

— Сколько ей лет?

— Уже тридцать.

— Мы ровесницы...

— Адриана,— сказал я торжественно,— вы меня повергаете в смятение.

— С моей стороны вам ничего не угрожает. Мне просто грустно. Я говорю чепуху... Не обращайтесь внимания.

В окно ударил с неба косой кровавый свет вечерней зари. От красного отблеска лицо Адрианы стало вдруг некрасивым и несчастным. В дверь просунулась голова проводника.

— Чайку?

— Да, да, пожалуйста.— Поглядев в окно, Адриана сказала:— Как быстро темнеет.

Ночью, в душистой духоте мне снилась Надя. Переполненный горечью и печалью, я чувствовал, что она рядом на соседней койке, но я нем и не могу ее позвать, а тело и руки мои бессильно ватные, и я в отчаянии и слезах сознаю, что никогда до нее не дотянусь и не сумею в последний раз сказать ей, как ее люблю. Преодолевая невыносимую немоту и

скованность, я все же протягиваю в темноту руку и просыпаюсь.

Позванивают на столике стаканы, что-то постукивает в переборках вагона, Адриана спит. Поезд несется в обезлюдившем ночном мире, тьма за незадернутыми шторами вспыхивает изредка желтыми огнями разъездов, холодным люминесцентным светом вокзалов.

Утром в полутьме на небольшой станции, последней перед Бухарестом, проводник выносит вещи Адрианы. Шипит за окном дождь. Она выходит не обернувшись, и что-то обрывается навсегда, — ее сходство с Надей мне померещилось.

Я лежу, замерев в холодном, еще недавно нашем общем тесном купе.

...Вагон качает на узкой колее. Я опять перебираю свои записи, и туло гляжу на булку возле стакана, недоеденную моей попутницей...

Окаменелые куски хлеба найдены были в доисторических стоянках людей... Родина дрожжевого хлеба — Древний Египет... В арабском языке «хлеб», «пропитание» и «жизнь» обозначаются одним и тем же словом.

Во мне все еще звучат слова Адрианы, которая пережила в Нью-Йорке ночь тьмы и ужаса, и я вспоминаю известные мне подробности...

Весь огромный город внезапно погрузился во тьму. Тысячи людей повисли в лифтах небоскребов, застряли в тоннелях метро. На операционных столах несчастные не помешались только потому, что находились под наркозом. Погасли экраны телевизоров, погрузились в темноту залы кинотеатров, вокзалы, рестораны, правительственные и полицейские здания. Как только вышла из строя система охранной сигнализации, в магазинах и банках начались грабежи и поджоги, на улицах и в вагонах метро — изнаси-

лования и убийства. Стремительно наступало одичание многомиллионного города...

Этот мир во мгле не такой уж дальний: девять часов на самолете.

Во мне все еще звучал голос Адрианы.

И голос Нади.

Все летело в прошлое под перестук маленьких железных колес в раскачивающемся вагоне, и моя память выпрыгнула на ходу и бросила меня под высокую арку двора позади старого Московского университета, где темнели тяжелые дома с профессорскими квартирами.

Задохнувшись, я забежал на площадку четвертого этажа с высоким лепным потолком и позвонил. Здесь жил старший мой друг и приятель, директор Института патологической физиологии Сурен Михайлович Гаспарян.

Мне открыла дверь высокая гибкая дама с лицом хорошей кобры. В руках она держала тарелки. Это была Марианна Пересветова. Мы были с ней знакомы.

Я разделся и вслед за Марианной прошел в кухню, откуда доносилось тихое пение.

Сидя за кухонным столом, заставленным посудой и пирогами, задумчиво тянули «Степь да степь кругом» старуха Никитична, кухарка Гаспарянов, профессор Сверблов с головой льва и молодая женщина с тяжелым пучком рыже-вато-бронзовых волос. Я прислонился к стене, и женщина обернулась и поглядела на меня, сощулив близорукие глаза. У нее было лицо из какого-то другого, потонувшего мира. Да, из потонувшего мира, — это мне сразу пришло в голову.

Сверблова я знал давно, но женщина мне была незнакома.

— Это Надежда Сергеевна, — шепнула мне Марианна, опуская в мойку тарелки, — Надя Поливанова.

Я прошел в столовую. Здесь властвовал Сурен Михай-

лович, окруженный дамами. У него было лицо абрека с большим страстным ироническим носом. В глазах его неизменно металось веселое бешенство. Казалось, он в любой момент готов кинуться в поножовщину, и вероятней всего, из-за женщины. Рядом с ним сидела его жена, похожая на Афино-Палладу у домашнего очага. Внешне оставаясь величественно спокойной, она с ужасом ожидала очередной выходки Сурена Михайловича. Сейчас он произносил тосты, полные добродушного, как ему казалось, а в действительности беспощадного яда. На диване сидели, посмеиваясь, три старичка в черных саржевых академических шапочках.

— А я, — заявил Сурен Михайлович, — эту свою шапочку все еще поровню надеть набекрень.

Веселая старушка в очках — давняя приятельница хозяйина — захлопала в ладоши.

— Я всю жизнь любил женщин и преклонялся перед ними, — расширял конские ноздри хозяин дома. — Но скоро они уже всюду будут премьер-министрами, а не только в лукавом Альбионе, прекрасной Индии и суровой Норвегии. Впрочем, роковой пример одной китайской дамы из мира кино, ныне приговоренной к смерти, может быть, их остановит? Если дам вообще что-нибудь и когда-нибудь может остановить. На Кавказе жила одна женщина — ей доверяли больше, чем государство, доверяли вести стол, быть тамадой. Она погибла в самолете от удара молнии. Это была Ната, грузинская богиня немого кино. От нее осталась только обгоревшая кисть руки. Вся Грузия хоронила эту руку.

Гости притихли, ожидая лестного, но опасного развития мыслей Сурена Михайловича. Светловолосая Афина-Паллада дрожащими розовыми руками разливала чай из самовара в тонкие фарфоровые чашечки. Хозяин пил нарзан из посеребренного рога. Он повернулся, сверкнув глазом, к Пересветовой.

— Я хочу выпить и прошу всех присоединиться ко мне, за нашу удивительную Марианну, за ее неисчерпаемую

энергию, бросающую вызов самой природе. Как все устроено в природе? Лев красавец, у него грива, а львица малопривлекательная бесцветная большая кошка. Павлин! Он чудо, у него драгоценный хвост, в котором переливаются все краски неба. А его дама — всего лишь серая курочка. Мужчина! Он прекрасен, потому что, обольщая, облагораживает силой поэтического чувства женщину. Это его назначение. Он соловей! Он творец! Но наша Марианна, наша очаровательная кобра, все это опрокинула и опровергла. В свои сорок лет, познав искусство присоединения к перспективным научным программам, злодейка украсила свои пленительные перси всеми возможными академическими и государственными премиями. А ныне, забыв печальный опыт Цицерона, которому отрезали язык и приколотили гвоздем к трибуне сената, произносит речи на всех международных симпозиумах, коллоквиумах, семинарах и ассамблеях, а чтобы ее однажды не стащили с трибуны, уже три месяца, как берет уроки карате. — Сурен Михайлович вознес над головой рог. — Итак, за ученую леди-карате!

Афина-Паллада покраснела. Старички в черных шапочках заплодировали. Пересветова метнула на хозяина яростный взгляд, ее носик с горбинкой хитро сморщился, но тотчас она взяла себя в руки и с милой улыбкой воскликнула:

— Над кем смеетесь? Над одинокой беззащитной женщиной.

— Смеюсь?! — заслонил лицо ладонью Сурен Михайлович. — Восхищаюсь.

— Милый Сурен Михайлович, — высоким голосом нежно произнесла Пересветова. — У меня просто нет мужа. В этом все дело. А вы боитесь женской интеллектуальной конкуренции.

С кавказским акцентом Сурен Михайлович неожиданно заявил:

— Нэнавыжу женшин-поэтесс!

Тут я обернулся и увидел в дверях Надю. Лицо ее было серьезно, а глаза смеялись. Я поднялся, чтобы подойти к ней, но она быстро вернулась на кухню, и оттуда опять послышалось тихое пение: «На серебряной волне, на златом песочке долго девы молодой я искал следочки...»

Сурен Михайлович обращался теперь к немолодой насмешливой женщине, рядом с которой сидел ее сын со странным асимметричным лицом, одетый ярко, как хоккеист, вернувшийся из-за границы. На вид ему было лет тридцать.

— А теперь мы должны выпить за здоровье и мужество Варвары Георгиевны и ее достойного сына, нашего нового коллеги.

— Сурен! Ради бога, — взмолилась жена хозяина. — Будь корректен.

Сурен Михайлович опять вознес над головой рог.

— Варвара Георгиевна тоже была опасной амазонкой, и единственно, чего не сделала, — не отрезала себе правую грудь, чтобы верхней целиться из лука.

— Сурен! Я тебя умоляю. Оставь в покое хотя бы Варвару Георгиевну!

— Ни в коем случае, — запротестовала гостя, прищурив умные и все еще прелестные аквамаринные глаза. — Я обожаю дерзости Сурена Михайловича.

— Умница, — одобрил хозяин и сделал несколько глотков из рога. — Образованная женщина. И знает, что амазонки отрезали себе груди в военных целях... Как всем нам известно, Варвара Георгиевна была в Министерстве здравоохранения начальником главка, членом коллегии, как говорится, на лучшем счету, могла стать заместителем министра, но все бросила: пост, карьеру, высокую бюрократию — и пошла рядовой заваптекой на Комсомольский проспект. Почему? У нее был сын — вот он сидит рядом с ней, — который вполне мог стать уличным бандитом, а вовсе не членом-корреспондентом. И Варвара Георгиевна занялась его судьбой. Она угадала в юноше любопытство к загадке жизни.

Остальное присутствующим известно: военно-медицинская академия, в двадцать три года кандидат, в двадцать восемь — доктор наук, а ныне избран в наш круг, и теперь самый молодой членкор Академии. — Сурен Михайлович долил себе вина и воскликнул: — За подвиг матери-амазонки и за юного Геракла науки, товарища Снежко Юры... простите, Юрия Адамовича!

Тут все зааплодировали.

Молодой Снежко поцеловал руку своей матери и с достоинством перенес овацию. Одна бровь у него была выше другой и часто дергалась.

Между тем хозяин кинул на стол рог, зажал в зубах столовый нож и, к ужасу Афины-Паллады и вящему восторгу гостей, вскочив на стул, стал изображать, что пляшет бешеную лезгинку. Один из академиков в черной шапочке неожиданно зычно выкрикнул: «Асса! Асса!» Но больше всех радовалась, хлопая в ладоши, старушка в очках, давняя подруга хозяина дома. Вдруг Сурен Михайлович замер, как орел на скале, словно впервые увидел старушку.

— А-а-а! И ты здесь, Александра?! — спросил он грозно.

Афина-Паллада закрыла лицо розовыми руками — она предчувствовала, что сейчас произойдет.

— А помнишь, Александра, — прошепел Сурен Михайлович, — как ты меня выменяла в восемнадцатом году на ферта в красных галифе? Забыла?!

Старушка вскочила и, растерянно хихикая, отступила за спину Варвары Георгиевны.

Сурен Михайлович раздул лошадиные ноздри:

— Знаешь кто ты, Сашка?! Легкомысленная особа!

Афина-Паллада умоляюще поглядела на Снежко, и тот медленно поднялся. Старички в саржевых шапочках били в ладоши. В дверях появились Надя и могучий Сверблов.

— Не подходите ко мне! — притворно зарычал Сурен Михайлович и выронил из зубов нож. — Я должен ее убить! — Не слезая со стула, он раскинул руки, точно крылья, и навис над старушкой.

— Сурен Михайлович! — крикнула Надя, с трудом сдерживая смех.

— Прочь, Савонарола! Все отойдите! Она была моим юным партийным товарищем, знала, что я влюблен в нее... И выменяла!.. На кого?! На ферта в красных штанах!

Снежко и Сверблов заслонили собой старушку.

— Да он шутит, дурачится! — воскликнула она, чрезвычайно довольная суматохой.

Казалось, Сурен Михайлович окончательно потерял власть над собой, но я-то знал, что это далеко не так, что это представление, кураж, игра в кавказское долголетие с целью ошеломить гостей.

— Мужчины! — зарыдала Афина-Паллада. — Да помогите же! Сделайте что-нибудь!

— Минуточку! — вмешалась Марианна Пересветова и, сделав стойку, издала японский боевой клич.

— А-а! Леди-карате! Все против меня? — Сурен Михайлович неожиданно громогласно зевнул и спрыгнул на пол. — Веселитесь дальше. А я пойду вадремну полчасика, — и удалился в спальню.

Наступило неловкое молчание. Через столовую прошел, переваливаясь, старый толстый бульдог, с презрительной черной губы которого стекала слюна, и, для порядка зарывав, улегся в углу — видимо, хозяин согнал его с постели.

Афина-Паллада тотчас сообразила, что разрядить обстановку могут только милые воспоминания о наших меньших четвероногих братьях, и все заговорили о собаках. Начала хозяйка дома:

— У Молли очень тяжелая наследственность. Да, да,

наша сука потомок бульдогов моего дедушки. Он был капитан дальнего плавания, англоман, храбрец, в каюте с ним жили пантера и змея. Однажды она выползла на палубу, и дедушка, как Георгий Победоносец, заколол ее — кажется, шпагой. А в Петербурге у него была псарня. Когда он оставлял свою очередную пассию, то неизменно дарил ей щенка. Брошенных им дам узнавали на Невском по коричневым бульдогам.

Я поднял голову и увидел за столом напротив себя Надю. Молодой Снежко почему-то кинул:

— В Африке львы и лани днем бегают рядом, и более того — львы защищают ланей от других хищников. Но когда наступает в саванне ночь, аккуратно пожирают спутниц: львы резвятся днем со своим вечерним ужином.

Лицо Нади вспыхнуло, она спросила:

— Что вы хотите этим сказать, уважаемый шеф?

— Ровно ничего.

— А у меня жил дома волк, — упрямо заявила Надя. — Брат привез с Дона. Ну рвал мне, конечно, чулки, бесчинствовал нередко, а молоко из бельевого таза мирно пил рядом с котенком.

— Не сомневаюсь, — заметил Снежко, — что трагический конец вашего эксперимента вы от нас скроете. И был ли это волк? Волчонок небось. Не ошибаюсь?

— Не ошибаетесь, — сердито кинула Надя.

— И у нас с мамой была любимая собака, — сказал Снежко. — И заболела чумкой. Повез я ее в ветеринарную больничку. Жду в приемной подтверждения диагноза. Рядом со мной сидит старушка и плачет, лаская курицу с переломанным крылом. И все причитает, все причитает: «Бедная ты моя Машка!... Может, фельшар еще возьмет тебя на лечение». — «А что с ней?» — спрашиваю. «Да вот петух-боевик проклятый крыло переломил Машке, а еще она что-то проглотила — не то гвоздик, не то иголку». Мимо прошел фельдшер и сказал старушке: «Сейчас примем твою

несушку». Гляжу я на повеселевшую старенькую женщину и спрашиваю: «А как вылечат, что с Машкой будете делать?» — «Как что? — отвечает добрая старушка. — Зарежу к рождеству».

Снова возникло неловкое молчание. Надя поднялась и вышла из комнаты. А Снежко на цыпочках подкрался к двери в спальню, отворил ее и поманил к себе Афины-Палладу.

Сурен Михайлович вовсе не спал, а писал, сидя за маленьким секретером из карельской березы. Он был близорук, и, перечитывая строчки, водил по бумаге своим длинным горбатым носом абрека. Услышав голоса, он обернулся и сказал деловито:

— Отлично поработал, пока вы там развлекались. — Он поднялся, размялся, подвигал плечами и заявил: — Бал продолжается?

— Суренчик, — робко произнесла жена, — все уже уходят.

— Да? Так рано? — удивился хозяин дома. И отвел в сторону Снежко: — Просмотрел проект организационной структуры и предлагаемой тематики Международного института человека. Основные принципы безусловно приемлемы, более того — благородны. Считаю, что вице-директором института должны быть вы. Я уже говорил об этом наверху. — Он протянул Снежко листки. — Погляньте и дополните.

— Благодарю вас.

— Ладно. Идите домой. — Сурен Михайлович опять зевнул. — Я хочу спать. Все идите домой. И держитесь поближе к леди-карате. На улицах нынче сильно разбаловались сверстники Снежко. Прощай, милая Сашка, моя юная неразделенная любовь, — облобызался он с Александрой Васильевой.

Старушка всплакнула, Афина-Паллада деликатно отворнулась, и в этот момент я ей сказал:

— Но вы меня так и не познакомили с Надеждой Сергеевной.

— Неужели?! — всплеснула розовыми руками хозяйка.

Надя пристально поглядела на меня близорукими смеющимися глазами.

— Здравствуйте, — протянула она мне твердую, отнюдь не дамскую руку, — и до свидания.

Мы вышли на площадку. Снежко взял Надю под локоть.

— Я здесь.

— Проводите вашу маму, — сказала ему Надя. — Я доберусь сама. Мне надо поговорить с профессором Свербловым. — Она сморщила нос. — Не люблю, когда режут друзей к рождеству.

— Прекрасно, — брови Снежко косо взлетели вверх, задвигались. — До завтра.

— До завтра.

— Могу вас и профессора подвезти, — предложил я. — У меня машина.

— Спасибо. — Надя вопросительно поглядела на Сверблова. — Я думаю, немного пройдемся пешком?

— Как хочешь, — кинул Сверблов.

Когда мы вышли из гулкого, тускло освещенного подъезда и распрощались с леди-карате, Александрой Васильевной и старичками в саржевых папочках, живших в соседних корпусах, я открыл дверцу «Жигулей» и предложил еще раз:

— А может быть, все-таки я вас подвезу, Надежда Сергеевна?

— Ну чего ломаешься, Савонарола, — мотнул Сверблов головой льва. — Поехали. Час поздний. — И он первым забрался в машину. — Конечно, ты небескорыстен, шофер, мне это понятно. — Надя села рядом с профессором, и он бросил: — Остерегайся его, Савонарола. —

— Учитель, — сказала Надя. — Вам не идет этот гри-вуазный тон.

Я включил фары. Мотор подрагивал на малых оборо-тах.

— Почему Савонарола? — спросил я, нажимая педаль газа. — И почему — учитель?

— Эта особа была моей студенткой, — сказал Сверблов. — А Савонаролой ее прозвал Сурен Михайлович... за непрек-лонную женственность... или жецскую непреклонность, как тебе больше нравится. Не слушай² ее. Надежду не смутить страшно, а разгневать — не приведи господь.

— Кажется, Савонаролу сожгли на костре? — заметил я, выруливая из арки на улицу Герцена.

— Надежде это не угрожает. Сама кого хочешь поджа-рит.

— Куда ехать? — спросил я.

— В университет на Ленинских горах, — отозвалась Надя. — Сегодня я намерена поджарить профессора Сверб-лова. Не возражаете, учитель? Я обязана проинспектировать ваш быт.

— Савонарола, Савонарола! — И вдруг мне: — Сожги ее. Сожги эту несносную особу. И без всякого перехода Наде: — Люблю я тебя, Надюшка. Ты — человек.

— Прочла я статью вашего злодея, — сказала уже серьезно Надя. — Вы должны бороться.

— К черту. Устал.

— Перестаньте, учитель. Обсудим все спокойно.

— Спокойно! — вскрикнул Сверблов. — Когда живого места вот тут нет, — он просунул ладонь под рубашу и потер грудь. — Все горит.

Мы выехали на Моховую. Сверблов молчал. И вдруг стал жаловаться:

— С кем бороться?! Они же ничего не поняли! Мир дерьмо, потому что человек изначально дерьмо? Я же дока-зываю, что наследственно, биологически человек не только

хищник, но и альтруист. Вижу в этом замечательную поэтическую надежду. Они ничего не поняли. Ничего! И уж не знаю, из корысти или по слепоте при моей баллотировке в завлабы набросали черных шаров. И не мне одному получается — всему роду человеческому.

Я вел машину, наблюдая в смотровом зеркальце за выражением Надиного лица. Она хмурилась совсем по-детски. Вспомнил ее крепкое рукопожатие, низкий голос. Кто же она? Упрямый ребенок, женщина из потонувшего мира или Савонарола?

Сверблов шумно ворочался на заднем сиденье.

— Хотя бы Дарвина вспомнили! Или Кропоткина. Выживает в борьбе тот вид, в котором более развито чувство взаимовыручки, общественного самосохранения.

Надя заметила, что я за нею наблюдаю, и коротко бросила:

— Отверните зеркальце... пожалуйста.

Я обернулся. Удлиненные глаза ее смеялись.

Мы проехали мимо бассейна «Москва» и памятника Фридриху Энгельсу. Он стоял, косо вытянувшись, в зеленоватом люминесцентном свете, сложив руки на груди. Сверблов высунул в окно свою львиную голову и воскликнул:

— Его бы вспомнили! К нему бы прислушались... Разве он отрицал влияние наследственности?

— А вы знаете лично вашего оппонента? — спросила Надя. — Автора статьи?

— Понятия не имею. Думаешь, только в печати он меня распушил? Письма строчит в академию. Мне их показывали.

— У него есть... определенные цели? Какое у вас впечатление?

— Откуда я знаю. Атакует вроде бы чисто теоретически. Никаких личных мотивов против меня не выдвигает.

— Он москвич?

— Нет. Живет где-то на Каме, в маленьком городке. Безусловно, силен в полемике. Не дилетант. Это надо признать.

— Странно. Алсуфьев... его настоящая фамилия?

— Думаю, псевдоним.

Мы миновали Метростроевскую и влетели на мост. Надя спросила Сверблова:

— И в письмах он тоже доказывает, что вы отрицаете влияние среды?

— И среды, и воспитания. — Сверблов опять взорвался: — Ведь что я хотел вдолбить — влияние наследственности мало изучено, сила среды самоочевидна, разъяснена. Но этого услышать не пожелали. Не по-же-ла-ли!

Я поправил зеркальце и опять увидел в нем лицо Нади. Наши взгляды встретились, и я прочел в глазах Нади призыв к пониманию, серьезной оценке происходящего.

— Я утверждаю, и не я один, — продолжал Сверблов, — что в самой наследственной природе человека заложено нечто, что толкает его к самопожертвованию. И это результат эволюции, естественного отбора. Да, альтруизм, как и наша жестокость — продукт не только воспитания, но и генетических приобретений. Оскар Уайльд утверждает: «Любовь к самому себе — это единственный роман, длящийся всю жизнь». Но эта уверенность в изначальном эгоизме человека сталкивается с примерами массового самопожертвования, верного товарищества — даже у животных.

Я слушал Сверблова с интересом. Его слова, его мысли находили во мне смутный, но сильный отклик.

— Разве можно утверждать, что готовность матери, а иногда и отца рисковать жизнью, защищая своего детеныша, вызвана только воспитанием. Она естественна, природна. Этот сложный инстинкт в животном мире помогает сохранить потомство, способствует процветанию вида. И самое замечательное — этот тип альтруизма распространяется за пределы семьи, охватывает стаю, стадо. Обезьяны гедалы,

например, заботятся о потомстве все сообща, и если раздается сигнал тревоги, то детеныши бросаются на спину любому из компании, несущейся в укрытие. А в стаде павианов мать и дитя вообще привилегированные существа — их охраняют все самцы. Даже без передачи опыта, родительского примера, инстинкт оказывается закрепленным, как защитная окраска или естественные средства самообороны. И не только у позвоночных. Великий инстинкт взаимовыручки есть и у некоторых насекомых, как это ни оскорбительно для нашего слуха.

В рассуждениях Сверблова я уже улавливал главное — потребность верить, что человек от природы не себялюбивый зверь, а существо доброе, способное жертвовать собой ради других, что борьба всех против всех — не закон жизни. Однако общее значение этих мыслей предстояло мне осознать значительно позже, в будущем.

Я остановился у смотровой площадки на Ленинских горах. Здесь было пустынно. Ветер гнал картонные стаканчики из-под мороженого. За темной рекой сияли склоненные над стадионом рамы прожекторов. Вокруг мерцал город. Я спросил:

— Сворачиваем к университету?

— Да, пожалуйста, — сказала Надя.

— Под светофор, — пояснил Сверблов, — вдоль сквера, мимо главного входа — к левой профессорской башне.

Миновав сквер и водоем с кафельными цветами фонтанчиков, разбрасывавших в темноте водяную пыль, я проехал у подножия светящегося высотного мегаполиса МГУ и притормозил у профессорской башни.

— Доставлены, — обернулся я к Наде и спросил: — Каковы дальнейшие планы?

— Должна подняться к учителю.

— Я вас подожду.

— Ни в коем случае. Мне просто неудобно...

— Идем с нами, — отдуваясь, вылез из машины Сверб-

лов.— Дам чаю. Или уезжайте оба. Все равно я буду весь вечер рычать.

— Нет,— решительно заявила Надя,— я должна поглядеть, как вы справляетесь с бытом. Я обещала вашей жене за вами присматривать.

— Тогда иду пить чай,— сказал я, запирая дверцу машины.— Если Надежда Сергеевна не возражает.

Она опять близоруко поглядела мне в лицо и ничего не ответила.

В лифте Сверблов продолжал:

— Естественный отбор не мог создать этику, но он вызвал такие перестройки наследственности, которые заложили этические оценки. Это доказано, доказано — и не только мною...

На лестничной площадке он порылся в карманах и заявил:

— Ключей нет.

— Поищите спокойно,— сказала Надя,— еще раз.

Он искал, говорил воспаляясь:

— Самый безжалостный закон природы, закон выживания и уничтожения слабых, породил и закрепил вместе с тем инстинкты высочайшей нравственной силы!.. Ключи есть! Прощу.

Он открыл дверь, и мы вошли в переднюю, а затем в комнаты. Надя придирчиво оглядела их. В кабинете на письменном столе, на стульях и на рояле пылились книги и ноты.

— Особых следов одичания и упадка не вижу. Но вытереть пыль, подмести пол и разложить по местам книги и клавиры придется.— Она пошла на кухню.— А вот тут ужас и запустение. Перемыть посуду поручается мужчинам, а я буду убирать пока в кабинете. Учитель, у вас найдется для меня какая-нибудь спецовка — старая пижама, халат или просто ненужная рубаша.

Халата Сверблов не обнаружил и принес Наде рваную пижамную куртку.

— Кто у вас в доме музицирует? — спросил я. — Жена?

— Моя достойная половина работает в Комитете защиты мира и, как правило, находится за пределами государственной границы. А музыкой занимаюсь я, — произнес Сверблов обиженно. — К твоему сведению, я член Союза композиторов. Меня исполняют. Интеллигентным людям это известно.

— Прости, — пробормотал я. — Полагал, что Сверблов — композитор это...

— Не ври, — бросил хозяин дома. — Ты просто не интеллигентный человек. Когда ты был в последний раз в концерте? То-то же. Моя музыка — вторая жизнь. Помогает переносить тяготы первой. Так сказать, прекрасная дама: мучает, но не делает пакостей.

Переодевшись в ванне, Надя явилась перед нами в поло-сатом рубище, доходившем ей до колен и элегантно перепоясанном галстуком профессора. Голову ее украшал тюрбан с хвостом из полотенца.

— На костер! На костер!.. — выкрикнул Сверблов.

Она была похожа на миловидную ведьму. Рубище лишь подчеркивало ее женственность.

— Где у вас метла и совок? — спросила Надя.

Она принялась за уборку с веселой домовитостью. Мы с профессором расставляли по местам книги и ноты, явно не торопясь мыть посуду.

— Мне, право, неловко, Надюша, что ты убираешь мою конюшню, — вздыхал Сверблов.

— Взаимовыручка. Мы принадлежим к одной стае. Идите мыть посуду.

Мы вымыли посуду и сервировали ужин на кухне.

Закончив уборку, Надя приняла душ и, освеженная, вышла к нам.

— В одном прав Алсуфьев, — сказала она Сверблову, — вы увлеклись общей идеей и не озаботились подбором приме-

ров на основе последних исследований. Это оплошность, учитель.

— Как она со мной разговаривает! — притворно возмущился Сверблов. — Но ты права, Надюша, права. Меня действительно интересовала мысль, что от природы мы не только хищники, но и бескорыстные герои.

— И хищники набросали вам черных паров, — кинула Надя, разливая чай. — Вы должны дать бой, учитель. Как бескорыстный герой. Обязаны!

— Нет! Нет! Брезгаю! — Воскликнул Сверблов. — Страдаю, но брезгаю. Устал.

— Если вас смущает необходимость дополнительной черновой работы... я готова взять ее на себя, подготовить для вас, например, статистический материал...

— Никогда! — крикнул Сверблов.

— Вы обязаны, — повторила она.

— Ради чего? Ради чего, скажи мне на милость, Савонарола?!

— Ради меня, — сказала Надя. — И всех, кто вас уважает. — Она поднялась. — Мне надо позвонить домой. — И вышла из кухни.

Сверблов молча и мрачно пил чай. Мягкий низкий голос Нади произнес в передней:

— Поешь без меня, дружок. И ложись спать.

Когда мы спустились с Надей к машине, была уже ночь. Из распахнутого окна Сверблова неслись звуки рояля. Музыка была ликующей и до боли печальной. «Она связана с тайной жизни, подумал я, — с тем, о чем весь вечер говорил Сверблов».

Мы стояли на тротуаре и молча слушали. Я смотрел на окно, на погасший мегаполис университета, выбеленный луной. «Мучители и жертвы, то есть профессора и студенты, спали». Кажется, эту дурацкую фразу я произнес вслух.

Лицо Нади тонуло в лунном свете. Музыка оборвалась, и мы услышали, как Сверблов нам сверху крикнул:

— Я запрещаю подслушивать неинтеллигентным людям. Я играю для себя.

Окно хлопнуло. Я спросил:

— Он пишет музыку? Или наш друг со мной шутил?

— Он не шутил,— тихо отозвалась Надя.— Давайте сядем в машину. Мне холодно.

Я открыл дверцу.

— Разрешите еще один... нескромный вопрос?

— Пожалуйста.

Я обошел автомобиль и сел за руль.

— Кто вас ждет дома, Надежда Сергеевна?

— Детеныш.

— Вы замужем?

— Я надеялась, что этот вопрос вы мне сегодня не зададите.

Лицо ее было в тени. Только руки гипсово белели на коленях.

Я включил мотор, и мы покатались в тишине металлической ночи, среди которой разбрасывали светящуюся пыль бледные цветы фонтанчиков и холодно поблескивали статуи в сквере. Миновав смотровую площадку, я остановился около маленькой, глухо запертой белой церкви.

— Вот вам моя куртка,— сказал я Наде,— посмотрим на великий город.

Мы вышли, но направились не к балюстраде, а к лесопарку. Среди деревьев Надя произнесла:

— Лес.

— И в нем идет естественный отбор,— засмеялся я.— Закрепляются великие инстинкты самоотверженности. Или взаимного уничтожения?

— Напрасно смеетесь. Это как-то не приходит в голову, но эволюция действительно продолжается. Она вовсе не остановилась после Чарльза Дарвина.

— Ах, вы моя милая ученая дама! — сказал я.

— Ваша? — резко переспросила Надя. — А вы самоуверенны.

— Боже мой, неужели вы поняли в буквальном значении?

— Представьте себе, да.

Что-то зашуршало под нашими ногами в темной траве.

— Интересно, здесь есть змеи? — спросила Надя.

— Бойтесь?

— Я? Ну что вы! Они умны. У меня жил замечательный уж. Мы с ним очень дружили. Но его погубила жажда приключений — он удрал. Я долго горевала.

— На костер! На костер! — воскликнул я. — Сверблов прав. Вы ведьма. И поняли все правильно... Поехали на Киевский вокзал завтракать?

— А поехали, — неожиданно согласилась Надя и взяла меня под руку. — Хотя бы посидим в тепле.

Мы быстро вернулись к машине, забрались внутрь. Над городом и рекой небо наполнялось светом. Церквушка порозовела. Поеживаясь от рассветной сырости, Надя сказала, когда я включил мотор:

— Я попутала. Утром на работу. Отвезите меня, пожалуйста, домой.

В выходной день я отправился в зоомагазин, купил лучшего ужа, запаковал его в коробку с дырочками и отправил со знакомым таксистом свой дар в институт на имя Нади. Все свершив, испугался, что буду осужден за неуместный презент, и решил завтра же ехать извиняться.

В институте я появился во время обеденного перерыва. Девушка-вахтер объяснила мне, как найти Надину лабораторию. Я вошел в большую светлую комнату, где на столах стояли приборы, некоторые со вскрытыми блоками и витками тонких разноцветных проводов. Надя, склонив голову, писала

у окна. Вокруг ее бронзово-рыжих волос светился солнечный нимб. Между мною и ею пролегло электрическое поле тревоги. Она обернулась. Я стоял молча. Нимб продолжал светиться. Лицо Нади от этого казалось притемненным. Мы оба молчали. И вдруг женщина рассмеялась. Это меня смутило, и я пробормотал:

— Простите меня.

— За что?

— Вы получили змия?

Надя достала из ящика белого полированного стола ужа и обернула им шею.

— Мы уже друзья. Большое спасибо за внимание.

— Кто вы? — спросил я.

Она пристально посмотрела на меня и произнесла:

— А вы?

— Этого я сам сейчас не знаю.

— Давайте попробуем выяснить. Хотите? — лицо ее было серьезно.

— Каким образом?

— Строго научно. — Она опять улыбнулась. — У вас в глазах паника. Бойтесь?

— Конечно.

— Тем более я должна установить, с кем имею дело.

— Я готов.

— Не пугайтесь этих ящиков, — кинула Надя. — Они помогут выяснить всего лишь степень вашей устойчивости, терпения, быстроты ориентации, так сказать, психофизической надежности...

— Это заговор... против тайны моей личности.

— Безусловно. Садитесь сюда, ближе к этому ящичку. Я сел.

— Это зрительный анализатор. Смотрите в глазок. Видите там на экране подковку?

— Кажется, вижу.

— Она будет менять положение. А вы должны мне быстро

говорить, где ее разрыв, куда повернуть — вверх, вниз, вправо или влево. — Надя нажала затвор. — Начали.

Я отстранился от глазка и поглядел в лицо своей учительницы.

— Ничего не вижу.

— Почему вы так волнуетесь?

— Не догадываетесь?

— Режиссер, самоуверенный мужчина... и вдруг...

Надя положила передо мной таблицу с кружками и квадратиками.

— В центре каждого квадратика поставьте карандашом точку. Контрольное время — семьдесят секунд. Стыдитесь, у вас дрожит рука. А на этой таблице наметьте центр круга и разделите его на семь равных частей. Проверяю глазомер и быстроту ориентации.

— Не могу.

— Да что с вами в самом деле?

— Не знаю. — Я глядел на уснувшего ужа на ее груди.

— Пересядьте за соседний столик.

Я повиновался. Она надела мне на запястье датчики, и передо мною на матовом экранчике стали вспыхивать красные, зеленые и желтые квадратики.

— Когда загораются красные, надо нажимать ключ... Вот он, вроде телеграфного... А когда зеленые — пропускать... Начали! Пишется кардиограмма.

Я пытался нажимать на ключ и вовремя делать паузу, но у меня ничего не получалось.

— А что делать, когда вспыхивают желтые? — спросил я.

— Разве я не объяснила?

— Нет.

Наши глаза встретились. Я сорвал с рук датчики и быстро встал. Проснулся уж и взглянул на меня злыми бусинками глаз.

— Знаете, почему у вас ничего не получается? Вы думаете все время о себе, а не о задании.

— Я думаю о вас, Надежда Сергеевна. И стыжусь своей бестолковости. Вы это прекрасно понимаете.

Она вернулась к своему рабочему столу.

— Во всяком случае, на сборке часов или радиоприемников вы работать не смогли бы.

— К счастью, у меня другие занятия. Работаю на конвейере вымыслов.

— Изучим и эту сторону вашей панической личности. — Она уложила змия в коробочку и сунула его в ящик. — Спи, спи.

— Как дела Сверблова? — спросил я. — Насколько я понял, он отказался от вашей помощи?

— От меня не так легко отделаться. Учтите, у меня тяжелый характер.

— Запугиваете?

— Предупреждаю. — Она глянула, сурово насупившись, но глаза ее смеялись. — Материал для Сверблова я уже собираю. И ставлю некоторые опыты. К счастью, это совпадает с моей плановой темой.

— Именно?

— Вам не интересно. — Продолжая писать, она заметила: — Принято думать, что между крайними точками зрения находится истина. Это неверно: между ними находится проблема. Я о Сверблове и его оппоненте. Ему, по-моему, очень дорога только одна мысль: «Человек человеку — волк»... А вам?

Я был застигнут врасплох и пробормотал:

— Волков не люблю.

— А если я волк, — не на шутку озадачила меня Надя, — извиняюсь, волчица?..

— Запугать не удастся.

— Уверены? — Она протянула мне книжку в яркой обложке «Я и мы». — Читали?

— Нет.

— Полистайте пока. И посидите тихо. А я допишу док-

ладную. — Она отвернулась, склонившись над столом. — Я ведь, между прочим, на работе.

Я молча кивнул, глядя с неизъяснимым волнением на ее затылок, отягощенный туго стянутым пучком. Эта женщина мне была нужна на всю жизнь. Но почему? Почему? Я наугад раскрыл книгу и стал читать.

«В тридцатых годах в Вене Джозеф Морено открыл новый психодраматический театр... Нелзя было понять, кто он: психолог, психиатр, социолог, философ, режиссер или сумасшедший... Сам он себя считал пророком и революционером. Многие над ним посмеивались... (Зачем она мне дала эту книгу?) Сейчас он живет в США и атакует конгресс требованиями об организации министерства человеческих отношений... (Не так глупо!) Его психодрама — это и лечебная процедура, и зрелище, и научный эксперимент, и дискуссионный клуб. Сюда приглашаются всевозможные невротики... (Я люблю ее. Но мне страшно признаться в этом самому себе.) И так называемые здоровые люди — все, у кого какие-то конфликты с окружающими или с самим собой. (А у кого их нет?) Каждый и зритель, и актер, и исследователь. Психотерапевты виртуозно действуют в качестве участников-наблюдателей. Общая программа: мы играем во всех, в каждого и во все. Моделируем все ситуации. Все позволено... (О, далеко не все! Я сразу понял: она может быть всем для меня или ничем.) Атмосфера импровизации, над которой витает незримая, тонкая психологическая режиссура... (Хоть она и медицинский психолог, но для этого непригодна — слишком прямодушна.) Тут и знакомятся, и целуются, и ругаются, и плачут — все как в хорошем сумасшедшем доме. Не разрешается только применять физическую силу. Общая цель: выговориться, вывести наружу свои конфликты, ожидания... (Мой конфликт ясен: я ищу в ней опоры.) Обогатиться подсознанием других людей. Лучше понять себя...»

Она кончила писать и повернулась ко мне. Я спросил:

— Вы хотите пригласить меня в свою труппу сумасшедших... или мы будем разыгрывать психодраму вдвоем? — Мой вопрос был неуместен и дерзок одновременно. — Простите... Я говорю вздор.

— Мне кажется, — спокойно ответила она, — вы не страдаете ни чрезмерной стеснительностью, ни болезненными комплексами — вы просто не знаете, как себя со мной вести. Бойтесь ошибиться.

— А вы?

— Я тоже... боюсь ошибиться. Пока мне ясно только одно: вы нетерпеливы, но целеустремленны.

Она засмеялась, капнула тушью на лист бумаги и, сложив его, растерла кляксу.

— Это старый тест, но всегда волнующий. — Указав на расплывшееся пятно, спросила: — Что это?

Снова между мною и ею пролегло электрическое поле. Я видел, она тоже неспокойна, словно ожидает от меня откровения или хотя бы правды.

— Что это? — повторила она. — Вы что видите? Надеюсь, не кляксу?

— О, нет, — прошептал я. — Не кляксу и не бабочку, а ваш мятущийся встревоженный мозг. Солярис, плавающий во вселенной. Косматую себялюбивую мыслящую материю. Клубящиеся тучи, как бороды пророков на вселенском ветру. Ляк Гомера. И лики демонов. Ваши страхи. Ваша душа сжимается и превращается в черную дыру. Вашего тела нет. Только энергия подозрений. Вы мне не доверяете.

— Это верно, — прошептала Надя. — Но если бы вы увидели просто кляксу, это бы меня огорчило.

— Я увидел вас.

— Автор книги «Я и мы» узрел в кляксе поперечный разрез позвоночника... и был зол на себя за отсутствие воображения.

В дверях остановился Снежко и молча смотрел на нас.

Надя почувствовала, что мы не одни, и, не оборачиваясь, сказала:

— Вот докладная.

Он подошел, взял со стола бумагу и протянул мне руку.

— Не ожидал здесь вас встретить... Ах, тесты, тесты!.. Кто из какого теста... да? Вы из какого? — Он повернулся возле меня и, не дождавшись моего ответа, пошел к двери и тихо прикрыл ее за собой.

Я смотрел на Надю. Щеки ее горели.

— Что с вами происходит? — спросил я.

Она ничего не ответила. Лицо ее было надменно.

И тут вернулся Снежко и бросил укоризненно:

— Так и думал! Вы явились сюда, чтобы похитить...

— Что похитить? — почему-то смутился я.

Снежко быстро подошел и двумя пальцами вынул из внутреннего кармана моего пиджака вчетверо сложенный лист.

— Чтобы похитить докладную Надежды Сергеевны. — И, довольный моей явной растерянностью, удалился, помахивая листком. В дверях обернулся и кинул: — Ученик народного артиста Армянской ССР Акопяна. Шутка-экспромт. — И скрылся.

— Что это означает? — обернулся я к Наде.

Она пожала плечами.

— Акопян действительно научил его нескольким фокусам, и он с удовольствием их показывает...

— А что было в вашей докладной... если не секрет?

— Просьба освободить меня от работы в лаборатории, которую он курирует. У нас сложились со Снежко очень странные отношения. И больше у меня нет сил.

— Вы не хотите объяснить мне это подробнее?

— Нет. — Помолчав, она сказала: — Самое смешное, что я веду тему человеческой совместимости...

— Сегодня я тоже был подопытным?

— Нет, нет... Конечно, нет, это была шутка...

— Жаль. — Я поднялся.

— Не сердитесь. Мне кажется, вы все поняли.

— Да, понял. Сейчас вы мне солгали. Это не было шуткой.

Она тоже встала и, сложив руки на груди, смотрела мне прямо в лицо.

— Остаюсь при своем мнении. Вы поразительно самонадеянны.

— Опять лжете. Вы же все видите, Надя.

— Надежда Сергеевна, — поправила она меня. — Черт знает что такое! Все время говорю с вами в каком-то дурацком тоне. Точно вы мне враг.

— Я хочу вас видеть... Не здесь.

Она взяла меня под руку и проводила до двери.

— Я сама вам позвоню, если решу, что это имеет смысл.

Я хотел сказать, что погибну без нее, что она мне нужна на всю жизнь, но вместо этого заявил:

— Вы же давно решили... топтать меня более регулярно и во вне служебной обстановки. Змея! — Я раскланялся. — А впрочем, уж... из чувства самосохранения купивший яду в соседней аптеке.

Она позвонила мне только через десять дней. Но позволила.

Я не стал гадать, что заставило ее это сделать. Мы встретились в шесть вечера у памятника Пушкину, на бронзовой голове которого сидели две птицы. Мы посмотрели на них и улыбнулись. Надя пожала мне руку по-товарищески.

— Уже сколько лет, — сказала Надя, — каждый день хожу мимо этого памятника, но так и не знаю, кто и когда его соорудил. А вы знаете?

— Александр Опекушин, из откупившихся крепостных... родился без малого через два года после гибели поэта

в семействе лепщиков. Опекушинский Пушкин был первым памятником писателю в России. Его перенесли сюда с торца Тверского бульвара.

— Это я знаю.

— В 1880-м году было открытие... В те дни Достоевский сказал, что стать настоящим русским, стать вполне русским, может быть, и значит только... стать братом всех людей.

— Спасибо,— негромко произнесла Надя. Мы сидели на скамейке около памятника среди старух, детей и африканских студентов.— А вы разделяете эту мысль?

— Да. Разделяю.

Надя посмотрела на меня, словно открыла неведомый архипелаг. Но ничего не произнесла.

Вскоре я заметил, что ее отношение ко мне переменялось, стало более доверчивым и дружелюбным.

Проникшись духом товарищества, мы растворились в ранней московской весне, омытой теплыми дождями, пахнущей черемухой и бензином. Теперь мы встречались после работы почти каждый день, ездили на речном трамвае, бродили по набережным, глядели, как вырываются на свет из тоннеля голубые поезда метро и несутся над нами по мосту. Иногда мы ездили на моей машине на Николину Гору, к реке, но не купались, а молча сидели на берегу и смотрели на светящуюся, еще холодную воду. Впрочем, молчала Надя. Я говорил, вспоминая свои профессиональные затеи, связанные с рекой. Мне всегда хотелось сделать фильм, где действие происходило бы на буксирчике, тянущем баржи с песком через город по Москве-реке. На песке дети, на палубе пароходика висит белье, идет своя жизнь, у бортов стоит одиноко высокая тоненькая девушка с летящими по ветру волосами, здесь любят и умирают.

Позже мы вместе с Надей смотрели на буксиры и баржи, писанные французом Марке: вода зеленая или серая, крупные мазки. В Музее изобразительных искусств я ей показывал импрессионистов, она их любит. Матисс ей нравится

меньше. А радость жизни? Красные рыбки в аквариуме, розовая мастерская, красное и синее, мир мудрого старого ребенка.

Потом мы стояли, склонившись над деревянной ракой короля и королевы, живших пятьсот лет назад, а за ними высились железные конкистадоры — копии конных статуй Вероккио и Донателло. Надя неожиданно спросила:

— А для чего искусство? Нет, я все понимаю. Наслаждение, познание, проповедь... через исповедь или эпос... Идеи добра, справедливости... Но ведь и еще для чего-то?

— Мне кажется, — ответил я, — чтобы прожить не одну нашу быструю жизнь, а множество жизней. Пережить десятки, сотни судеб, тысячи испытаний. Книги, мир фильмов и театра удлиняют ограниченную нашу жизнь, как бы ни была она полна радостями, страданиями и событиями. Искусство — это как женщина для мужчины. Как вы для меня.

Она усмехнулась настороженно, почти неприязненно. Я решил это не заметить и продолжал:

— Был такой немецкий художник и фотограф Маголи-Наги. Ему пришла в голову замечательная идея. Снимать лицо человека от рождения до смерти. С одной точки, так сказать, мультипликатом. Но реального человека. А потом сжать это зрелище в трехминутное монтажное переживание.

— Интересно, — сказала Надя, — но страшновато.

— Идея, разумеется, не была осуществлена, — успокоил я. — А вот мне пришла в голову другая мысль: сделать фильм, где герой сперва старик, а потом становится все моложе и, наконец, превращается в ребенка. Прекрасный способ проанализировать ошибки и заблуждения жизни, так сказать, обратным ходом.

— Почему в кляксе вы видите такие странные видения?

— Тесты, тесты, из какого ты теста? Я просто думаю,

что искусство требует от нас душевного усилия, а не безмятежного ротозейства. Или не надо лукавить, и давайте четку и девиц с перьями. Это тоже необходимо человеку.

— А вы знаете, чем вы все время заняты?

— Болтовней.

— Но с опасными целями.

— Именно?

— Сами знаете.

Конечно, я знал, хотя и не х^отел себе в этом признать-ся,— я стремился завоевать душу Нади. Но, увлеченный необъявленной агрессией, не замечал, что с каждым днем Надя становится все отчужденней.

В следующий раз мы беседуем на веранде кафе. Холодный ветер надувает полотняные занавеси, которыми отделены столики от улицы, крутящейся пыли и потока прохожих. Надя курит. Это впервые. Во всяком случае, впервые при мне. Я хочу понять, что с ней происходит. Я ведь ничего не знаю о ее близких, ни разу не был у нее дома. Почувствовав по моему взгляду, что я сейчас задам трудный для нее вопрос, Надя опережает меня и, гася в пепельнице сигарету, принужденно улыбнувшись, произносит:

— Ну, какие новые фантазии вас посетили?

— Я придумал к моему будущему фильму пролог под названием «Если бы!..» Если бы мы могли говорить только правду. Если бы мы поняли, что эгоизм невыгоден — ни людям, ни народам. Если бы мы умели вовремя улыбнуться. Если бы поняли, что зависть унижительна, а толкотня возле сладкого пирога жизни бессмысленна. Если бы наука могла бы победить боль и тем самым сделала невозможным принуждение человека к несправедливому убийству, к компромиссу, к измене. Если бы мы научились не страшиться конечности жизни и жили бы до поры усталости, возникновения инстинкта смерти, покидали жизнь с улыбкой. Если бы мы поняли свою всеобщность, и все на земле приняли бы наш путь к братству. И еще множество «если бы»... с пением, танцами

и фейерверком. А эпитафией к своему «Если бы» я поставил бы слова Иммануила Канта, выбитые когда-то на его могиле: «Две вещи поражают меня неизменно: звезды на небе и голос совести в моем сердце».

— Странный вы человек, — говорит Надя. — Почему вас занимают идеи, которые вы никогда не осуществите?

— А разве известно, что осуществишь, а что погибнет вместе с тобой. Надо быть предусмотрительным. В давние времена, отправляясь послом в Россию, китайский дипломат Ли Хунчжин вез с собой гроб на случай кончины в Петербурге.

— Откуда у вас эта жажда удивлять бедную женщину?

— Я ищущий себя... и вас среди клякс из туши.

— О боже! — тихо воскликнула Надя. — Почему в жизни так все сложно.

— Вы мне все еще не доверяете? — спросил я.

Надя не ответила, разглядывала иностранцев за соседними столиками.

— А разве пишут только о себе? — Надя снова закурила.

— Нет, конечно. Но знаете, что сказал Гёте? «Вертер и Фауст — это я». А Томас Манн: «Лотта в Веймаре — это я. И Крюгер — тоже я». После провала «Чайки» в Александрии Чехов записал: «Сегодня не имела успеха не моя пьеса, а моя личность».

— А написали и ставите социальный антифашистский фильм, — кинула Надя.

— Это для меня тема очень личная, — ответил я и посмотрел на часы. — Мой дед был замучен в лагере смерти... И отец погиб на войне... Я его никогда не видел...

Ветер хлопал полотняными занавесями. Люди шли мимо в крутящейся пыли, пригнув головы.

— Вам пора? — спросила Надя после долгого молчания.

— Да, с четырех у меня перезапись.

Я расплатился, и мы поднялись. Надя смотрела на меня с пониманием и сочувствием. На улице спросила:

- Перезапись? А что это такое?
- Поедьте со мной, Надежда Сергеевна.
- Не знаю, право...
- Вам будет интересно. Я прошу вас.

Мы доехали до студии в грохоте и треске внезапно опрокинувшейся на город короткой грозы. На мосту, казалось, ураганный ветер опрокинет машину. Потом сразу все стихло, и, когда я запер дверь автомобиля, в потеплевшем воздухе пахло электричеством и сладкой испариной скорого лета. Я заказал Наде пропуск, и мы прошли через бестолочь и сутолоку бесконечных лестниц и коридоров и очутились в тускло освещенном павильоне, где высоченного роста, лысоватый, с мексиканскими усами красивый дегина, наш художник, обставлял декорацию для завтрашней досъемки. Он сам таскал стулья и передвигал столы, в то время как рабочий-постановщик, юный ленивый светлокудрый демон с молотком, заткнутым за широкий пояс джинсов, развалился в кресле, читал детектив. Другой работяга стоял у стены на голове, занимаясь йогой.

— Молодые люди! — воскликнул я. — Художник таскает мебель, а вы...

— У нас перерыв, — не отрываясь от книжки, кинул демон с женскими волосами.

— А совести у нас нет, — ухмыляясь, прилег у фундусной стены йог. Он был гадко пластичен.

— Да ну их к черту, — крикнул художник. — Они ж не работают, а производственный стаж нагуливают.

Я помог художнику передвинуть шкаф, оглядел декорацию и сказал:

— По-моему, все хорошо. Эта стена разборная? Здесь надо будет положить рельсы для камеры.

— Разумеется. — Художник пил из бутылки грушевую воду. Он был весь мокрый.

Готовый взорваться, я с отвращением поглядел на йога и демона и встретился глазами с Надей. Она смотрела на меня с пристальным вниманием, и я понял, что опять превратился в подопытного. Мы молча поднялись на лифте в монтажный цех. Здесь был трудовой улей женщин в белых халатах — совсем юных, пожилых, замужних, опустившихся. Из комнатух-сот раздавались выстрелы, музыка, обрывки диалогов — за звукомонтажными столами гоняли фонограммы, подрезали пленку, переставляли куски. Появление Нади произвело в цехе сильное впечатление, и скоро уже в курилке возле туалетов творилась легенда. К счастью, моим монтажером была немолодая, суровая женщина с памятью электронно-вычислительной машины.

— Части для перезаписи готовы? — спросил я.

— Уже в проекции, — ответила моя ЭВМ. — Смена у вас начинается через десять минут.

— Это Надежда Сергеевна, — представил я свою спутницу.

— Очень приятно. Будете сниматься у нас на студии?

— Ну что вы! — отмахнулась Надя.

— Надежда Сергеевна занимается не кино-, а психодрамами.

— Перестаньте! — нахмурилась Надя.

— А вы не обращайте внимания, — сказала мудрая ЭВМ. — Мы к нашему шефу привыкли.

Две юные ее помощницы хихикнули.

— Цыц! — погрозил им я и, сев рядом с монтажером, посмотрел на маленький экранчик. — Почему вы опять поставили после открывающейся двери план входа Анны в комнату?

— А разве не логично?

— Логично. Но что советовал Анатолий Франс? Сталкивайте злитеты лбами. Надо резче. Открывается дверь — и сразу Анна в свалке площади: из тишины дома... в оглушительный ад борьбы. Попробуйте эти куски поставить рядом.

Мудрая ЭВМ пожала плечами и негромко бросила одной из помощниц:

— Номер 128а из коробки «драки на площади».

Обе девушки кинулись искать дубль, быстро перекладывая металлические коробки. В дверь заглядывали монтажницы из соседних сот, чтобы посмотреть на Надю. Заложив ногу на ногу, она ждала меня в кресле у зашторенного окна.

— Какие ноги! — донесся из жоридора шепот. — Видала? Где он ее нашел, интересно. Актриса?

— Разговорчики! — крикнула суровая ЭВМ. Потом, обращаясь ко мне, сказала: — Я сделаю. У вас смена. Потом посмотрите.

— Спасибо.

Мы с Надей снова были вынуждены пройти через весь длинный коридор монтажного цеха, сопровождаемые взглядами женщин в белых халатах. Легенда обрастала подробностями.

— Они вас любят, — кивнула на ходу Надя, — а меня ревниво возненавидели.

— Кто?

— Ваши монтажницы. Но их слишком много... Вы любите монтировать?

— Гораздо больше, чем снимать. Монтаж для меня — продолжение литературы... Только другими средствами.

Мы спускались по лестнице.

— Меняю слово, эпитет — меняется смысл фразы. Переставляю, сталкиваю кадры — возникает новый образ, мысль, метафора...

Когда мы вошли в большой темноватый зал, уставленный серыми глубокими креслами, звукооператор сидел уже за пультом машины перезаписи, похожей на огромное пианино: вместо клавиатуры на ее панели светились стрелки и цветные сигналы.

— Сколько у вас пленок в этой части? — спросил я.

— Восемь. Речь, две пленки музыки, синхронные шумы, остальные — фоновые: колокола, ветер и т. д.

— Я помню, — сказал я. — Какие каналы мне взять? Я думаю, музыку и фоновые.

— Первые фоновые. С остальными сам справлюсь, — бросил звукооператор, проверяя каналы. На нем была неизбежная одежда кинематографиста — красная рубашка и потертый черный кожаный пиджак.

Что-то дико засвистело, и я предупредил Надю:

— Не пугайтесь. Техника.

В глубине зала засветился широкий экран. Я присел рядом с Надей.

— Есть вопросы?

— Объясните, что здесь происходит.

Вошла дежурная монтажница и намеренно села в сторонке на крайнее кресло.

— На экран сейчас дадут изображение, — наклонился я к Наде, — а в машине перезаписи синхронно с ним пойдут все звуковые пленки, которые мы станем на пульте вводить, убирать или усиливать, и все восемь пленок будут записываться на одну магнитку, а потом вместе с изображением лаборатория переведет все в оптику. Более или менее понятно? Если да, то я удалюсь.

Я уселся рядом с звукооператором и сказал:

— Поехали.

На экране промелькнули кресты, раздался короткий сигнал, именуемый «пиком», и пошла часть.

— Откроемся, — сказал звукооператор, — проверим все пленки. У вас пятый, шестой и восьмой каналы.

— Магии искусства пока не будет, — крикнул я Наде в темноту зала.

Вскоре я почувствовал, что она стоит за моей спиной и с интересом следит за моими руками.

— У меня пленки вроде в порядке, — сказал я звукооператору.

— Проверим до конца, — отозвался тот. — На третьем куда-то пропали синхронные шумы — Он открыл канал до отказа. — А! Вот они!

На экране появился молодой человек, сел за столик и спросил о чем-то девушку-официантку. Она кивнула головой. И пошла в глубину кафе, где старик, которого все называли Цезарем, показывал представление с марионетками. Посетители смеялись. Цезарь увидел молодого человека и внезапно объявил, что представление отменено, и кафе стало пустеть. Девушка провела молодого человека на второй этаж, где Цезарь ждал его, сидя на табурете в полосатом лагерном балахоне, который успел натянуть на себя.

Каналы были открыты, и шумы и музыка заглушали диалог. Но все же Надя поняла, что молодой человек приехал из Москвы в маленький западный городок, чтобы повидать Цезаря, своего деда. С бабушкой Цезарь сошелся в неволе в сорок третьем. Они были узниками фашистского лагеря смерти. Им удалось бежать, но судьба развела их. Цезарь шепчет: «Мы встретились с твоей бабушкой вот в таких балахонах... Мальчик, я ждал тебя все эти годы. И все теперь будет твое — и это заведение, и моя тайна. Я завещаю тебе мою тайную борьбу». И на этом часть кончилась. Зажегся дежурный неяркий свет, и Надя спросила меня:

— Какую тайную борьбу?

— Узнаете своевременно, — улыбнулся я. И распорядился: — Все сначала! И на этот раз попробуем художественно.

— Рано, — бросил звукооператор. — Надо еще репетировать.

Пока перематывали изображение и звуковые пленки, Надя мне шепнула:

— И перезапись вы любите, да?

Мне мучительно захотелось ее обнять — здесь, при всех, но я только кинул:

— Люблю.

Снова вспыхнул экран, и замелькали кресты. Надя подошла к дежурной монтажнице, что-то ей тихо сказала, и они обе вышли из зала. Через несколько минут монтажница вернулась и положила передо мной записку. Не умея скрыть волнения, я прочел ее, не дожидаясь, когда окончится часть. «Спасибо,— писала Надя,— мне было интересно. Перезапись — это, видимо, последнее «сотворение» фильма, да? Однако «сотворение» жизни много сложнее. Еще раз благодарю. Позвоню... на этой неделе».

Надя не подозревала, что я мнителен. Она ушла — значит, работа моя ее не интересует? Об истинной причине исчезновения Нади я, естественно, не догадывался.

Она позвонила в субботу, и мы почему-то условились встретиться на Пресне возле бензоколонки, где мне надо было заправить машину. А машина вообще не заводилась, и я приехал на автобусе и стал ждать Надю. И тут сама природа решила дать мне повод для суеверного воображения. Светило солнце, я стоял, накинув пиджак на плечи, а в метрах пяти от меня повисла синяя стена дождя, и за нею, поспешно натягивая на себя прозрачный плащ с капюшоном и размахивая руками, прыгала вымокшая глянцева Надя. Она звала меня к себе, не понимая, что я стою на солнце. Тогда я кинулся в теплый ливень и за руку потащил Надю за собой под навес подъезда маленького розового домика.

Стигивая плащ, Надя сказала:

— Какой милый выходец из девятнадцатого века, правда?

Я согласился, не обратив на особнячок особого внимания. А напрасно — ему предстояло, как ни странно, стать моей оседлостью.

За домиком поднималась омытая дождем кирпичная башня старой обсерватории.

— У меня есть предложение,— сказал я,— тут рядом с обсерваторией живут мои знакомые старушки — хранитель-

ницы времени, как их называют. — Я был радостно возбужден. — Давайте их навестим. Они тоже весьма ученые дамы. Вам будет интересно.

— Как хотите, — безразлично кинула Надя.

— Вы чем-то озабочены? — спросил я.

— Не обращайтесь внимания. Идемте.

Мы вошли в зеленый дворик. Среди цветов гуляли мои старушки. Увидев нас, они всплеснули руками.

— Это Надя, — сказал я. — Надежда Сергеевна. А это Ольга Петровна и Вера Николаевна. — Старушки ласково глядели на мою спутницу. — Они хранили время. А время хранит их.

Ольга Петровна потрепала меня по щеке легкой, прозрачной рукой.

Она была совсем белая в белом платье. Теплый ветер шевелил ее незащитные волосы. А красные ободки вокруг умных глаз делали Ольгу Петровну похожей на старую белую мышку. Вера Николаевна казалась моложе. Еще темноволосая, со смеющимся озорным лицом в мелких морщинках, она все время невпопад подмигивала.

Показывая на кирпичную башню, Надя спросила:

— Там наверху помещался телескоп?

— Там, там, — закивала Вера Николаевна. — А в подвале — главные часы. Телескоп еще в прошлом веке купец подарил.

Потом она принесла ключи, отперла дверь башни, и мы вошли в ее сумрак.

Лестница, ведущая вниз, была крутая, с неровными ступенями. Я обнял Надю за плечи. Отстраняясь, она шепнула:

— Помогите лучше вашим милым старым приятельницам.

В подвале Вера Николаевна зажгла пыльную желтую лампочку, и мы с Надей увидели серую стену и небольшую нишу в глубине ее.

— Вот в этой нише стояли эталонные часы,— сказала Вера Николаевна,— тогда... одни на всю, может быть, Россию...

— В сорок первом Службу солнца и времени эвакуировали,— пояснила Ольга Петровна,— а нас оставили, чтобы давать точное время для радицентра и Ставки Верховного Главнокомандования...

— И остались мы с Оленькой вдвоем,— лицо старушки задвигалось, морщась и подмигивая,— в промерзшем деревянном домике тут же во дворе. А зима ужасная, сугробы в рост человека.

— Ну ты уж слишком сгущаешь краски, Верочка,— улыбнулась белая мышка.— Однако правда: такие сугробы, что из домика в башню другой раз не пробьешься.

Глядя в темноту, она прислушалась, словно там все еще стояли часы.

— Говорят, сумасшедшая цель была у Гитлера: разбить с воздуха наши Службы времени, вывести из строя все эталонные часы, спутать время в стране и в армии — и выиграть войну.

— А мы тут в снегу спрятались,— задвигалось снова лицо Верочки от беззвучного смеха,— нас и не заметил Гитлер.

Я посмотрел на притихшую Надю, щеки ее горели. Она была сейчас среди сугробов, стужи и беды далекого сорок первого года. Старушки это тоже поняли и повели нас в свой деревянный домик.

Теперь я сидел на диване, а Надя тихо бродила по крошечной квартирке. Стены ее, словно сыпью, были покрыты выпветшими фотографиями. Между ними висел большой морской хронометр. У стены стояли рядом две узкие девичьи кровати, аккуратно заправленные белыми пикейными одеялами.

Старушки, улыбаясь, покачивались в плетеных качалках

у раскрытого окна, за которым сквозь зелень деревьев была видна кирпичная башня.

— Нам полагался дворник, — рассказывала Ольга Петровна, — а его ваяли в армию. Вот тут нас и выручил один мальчик, живший поблизости.

— Мальчик? — удивилась Надя, опускаясь рядом со мной на диван.

Лицо Верочки просто запрыгало все от восторга.

— А вы что же думаете, ваш друг никогда не был мальчиком?

— Вы?! — посмотрела на меня Надя засветившимися глазами.

Я кивнул.

— Он у нас и карточку продуктовую получал вместо дворника, — подмигивала, беззвучно смеясь, Верочка. — Явился, сказал, что хочет нам помогать, и стал мужчиной в доме, нашим защитником.

— С его помощью пробились через сугробы, — подхватила белая мышка Ольга Петровна, — соединили проводом вот этот старый морской хронометр с эталонными часами в подвале башни и стали на ночь устраивать хронометр между нашими кроватями, возле тапочек Верочки. А телефон стоял на тумбочке. Ночью звонят из Ставки, а у нас все под боком, не надо через двор по холоду бежать... И мы сообщаем точное время...

Лицо Верочки беззвучно продолжало сжиматься и разжиматься. Казалось, старушка сдерживает себя, чтобы не заплакать.

— И самолеты летят бомбить врага, — тихо произнесла Ольга Петровна... — Помнишь, Верочка, в три часа ночи нам обычно звонили из Ставки?

Старушки покачивались в качалках, освещенные мягким вечерним солнцем.

— И вы одни... вот с этим мальчиком, — прошептала Надя, — всю войну?..

— Ну почему же одни? — улыбнулась мышка с красными глазками. — Очень скоро заработали и другие службы времени. А мальчик... нас не бросил, и при этом хорошо учился, и по дому маме своей помогал.

— А почему это вас так удивляет, словно вы открыли Антарктиду и не знаете, что теперь делать? — спросил я Надю.

Она молча и, по-моему, впервые сжала мне руку. Это не было любовным пожатием, нет, мы испытали друг к другу человеческую нежность, доверие. Я уверен, что Надя прониклась ко мне этим чувством в первый раз. Это был миг общности, тишины и надежды. Затем по лицу Нади прошла какая-то тень, она отстранилась от меня, и я увидел в ее глазах смятение.

...Покачиваясь в качалках и улыбаясь, старушки медленно отодвигались в моей памяти в мерцающую глубину весеннего вечера, становились все меньше, все меньше... я засыпал в вагоне, мотающемся на узкой румынской колее, пытался почему-то вспомнить, кто сделал самые маленькие часы... Бомарше!.. Драматург и придворный ювелир Мариин-Антуанетты... Она сняла их перед казнью... А что было раньше?.. Свеча времени... Черные и белые деления — время стораает... А еще раньше?.. Водяные часы в судах Рима... «Дать оратору воду, лишить воды»... А совсем в давние времена на площади Афин стоял гном, столб, отбрасывающий тень... «Я приду к тебе в пять ступней после полудня»...

В тот светлый вечер, в двадцать ступней после полудня, Надя взяла неожиданно мою руку — это было на Краснопресненской набережной — и поцеловала ее, сказав:

— Простите меня. Я не имею права больше от вас скрывать. Я выхожу замуж за Снежко.

Я вспомнил стену ливня, разделившую нас, вспомнил, как уходила в сумерках Надя, которая мне была нужна на всю жизнь.

По делам, связанным с предстоящей кинонеделей, я держался на несколько дней в Бухаресте. Обычно фестивали и всевозможные конкурсы устраивались в Варне. На этот раз встречу кинематографистов соцстран и показ фильмов решили перенести на Солнечный Берег. Сама судьба приближала меня к Институту человека, к вполне вероятной встрече с Надей. Утром в культурном центре Смынтия я беседовал с румынскими коллегами, а после полудня, предоставленный самому себе, праздно шагал по Каля Виктория и соседним улицам вдоль многоярусных, похожих на белые корабли высоких домов в стиле модерн тридцатых годов, заходил в темноватые прохладные бадеги, пахнущие бочками из-под вина и чесноком, пил в «Отеней-паласе» за мраморным столиком лимонад с прожегурой (какое торжественное слово!), то есть пирожным, похожим на башню, как правило из шоколада, а в воскресенье ездил в горы — в Синаю и Предялы, потонувшие в летучих облаках. Когда пахнущий снегом и хвоей сырой ветер разрывал их, вдоль поднимающейся вверх дороги проступали во внезапном ослепительном свете ярко-зеленые, розовые и коричневые дома с черными, специально обработанными огнем высокими деревянными цоколями. В сущности, это были срубы, но здесь прежде жили богатые люди.

— Хата Михая, — указал мой шофер на трехэтажное шале польверонезового цвета, стоящее под горой, с которой летели вниз тучи. — Михай — наш бывший король.

В эти праздные часы со смешанным чувством печали и горечи я думал о Наде, вспоминал сумасшедшую счастливую погоню за ней через два месяца после нашего объяснения на Краснопресненской набережной.

Я настиг Надю на старом пароходике, только что отвалившем от затерянной среди звездной речной ночи прикамской пристани. Грустный, страдающий бессонницей старый

капитан подтвердил, что на борту действительно имеется пассажирка Поливанова Н. С. Она занимает каюту в первом классе, но сейчас уже, естественно, спит. Слякки пробили полночь я посмотрел за борт во мглу реки, по которой текли огни, вдохнул пахнувший нефтью, арбузами и рыбой воздух безбрежной Камы и пошел вслед за капитаном, пожелавшим меня проводить до каюты. В коридоре было жарко, снизу, где шумела машина, несло перегоревшим маслом. Капитан отворил передо мною узкую дверь и тихо, не сказав ни слова, печально удалился. В темноте, не зажигая света, я повалился на койку, и у меня закружилась голова, словно опять, качаясь на волне, поднятой большим встречным буксиром, пароходик косо отбегал от пристани.

Я догнал женщину, которая мне была нужна навсегда, но не подозревал, что она спит рядом, в соседней каюте. Когда я закрыл глаза, опять все понеслось передо мною — берега Волги и плотина ГЭС, уходящая под крылом самолета, синяя глубина шлюзов с железными воротами, белые корабли и черные буксиры-плотоводы, и берега, и снова шлюзы, и московские улицы, и высокая темная подворотня на улице Герцена, где встретил я Сурена Михайловича. Я ни о чем его не спрашивал, но мой старый мудрый приятель, насмешливо сморщив свой нос абрека, сам мне сообщил, что Надежда Сергеевна отбыла в путешествие по пяти рекам, а Снежко бросила в Москве.

Я обнял академика и помчался в редакцию газеты «Водный транспорт», где работали мои давние приятели. Они довольно быстро навели необходимые мне справки, и моя путешественница была обнаружена в бассейне великой реки при впадении в нее Камы. Надя плыла на маленьком пароходике «Уралец», совершавшем свой последний рейс, прежде чем навсегда стать в ржавом кладбище кораблей. Друзья снабдили меня удостоверением, что я являюсь внештатным корреспондентом их газеты, получив с меня клятвенное обещание дать путевой очерк.

В темной каюте было душно. Я открыл окно, вползла ночная сырость реки. Я слышал, как бродит по палубе старый капитан, лицо которого я так и не разглядел.

Доносились хриплые короткие гудки встречных судов. Я не мог уснуть. В голове теснились фразы из путеводителя, который я читал в самолете: «В лесной тиши Валдайской возвышенности, среди болот упрятана колыбель реки...»

Повторяясь, слова ослепительно вспыхивали в мозгу. Почему-то вдруг вспомнилась фраза из Киплинга: ты бросил в мир поступок, и как от камня, кинутого в воду, потекут круги, так и от твоего поступка потекут последствия, и неизвестно, как далеко они утекут... От камня, кинутого в воду... От камня, кинутого в воду...

Три образа владеют мной — охота, дорога и время. Древний инстинкт охоты близок погоне за ускользающей истиной сюжета или любви, а радости ее и печали слиты с уносящимся временем жизни, а надежды — с образом дороги.

Я решительно не могу уснуть. Речная мгла в окне редеет. Опять думаю о своем новом... будущем фильме... Вспоминаю разговор со Свербловым... А эгоизм наций? Продолжение эгоизма человека? Я хочу судить эгоизм бесчеловечных хозяев мира, которые готовы уничтожить жизнь на земле. Я воображаю международный трибунал, судей и подсудимых... сюжет расследования... Я охотник, я плыву по реке и не могу уснуть... Колыбель!.. Шлюзы сверху похожи на колыбель...

Решаю вспомнить и пересчитать в уме все знакомые мне шлюзы. Но ясно представляю себе только один — у Днепровской плотины... И канал над равниной возле Дмитрова, приподнятый в бетонном ложе выше телеграфных столбов. И еще шлюз по пути к Московскому морю с летящими по ветру каменными каравеллами... В этот момент мне кажется, что в своей каюте вместе со стареньким пароходиком я падаю сперва медленно, а потом все стремительней в бездну шлюзовой камеры.

Я проснулся от ветра и солнца, ворвавшихся в открытое с ночи окно. Пароходик поворачивался, бежал вдоль диких хвойных лесов, поднимавшихся над пустынными плесами.

В каюте был умывальник. Я ополоснул лицо, надел свежую рубашку и свитер и направился на поиски буфета или ресторана, где рассчитывал встретить Надю. У меня стучало сердце, но я был бодр. Я вошел в носовой салон с широкими окнами, за которыми блестела чешуей мелкой волны беспредельная Кама. Столики в салоне были накрыты старенькими льняными скатертями, а посуда по-домашнему была сборной. На стенах висели копии картин Айвазовского, трогательно аляповатые, устрашающие видами морских пучин. Надя сидела лицом к реке, отбрасывающей сквозь зеркальные стекла на потолок и лица пассажиров зыбкие скользящие пятна света и тени. Помимо Нади за столом завтракали еще три немолодые женщины и красивый бородатый мужчина с черными зоркими глазами на белом лице. Шестое место оставалось свободным.

— Вы позволите? — спросил я, опускаясь в овальное креслице.

Надя обернулась и, побледнев, сжала в руке салфетку.

— Здравствуйте, Надежда Сергеевна. Какая приятная неожиданность.

— Доброе утро, — поборов крайнее удивление, ровным голосом произнесла Надя. — Какими судьбами?

— Случай — лучший романист, — ответил я загадочно. — Впрочем... — Я не договорил и, обратившись к пожилым дамам, спросил деликатно: — Вы не возражаете, если я стану вашим шестым сотрапезником?

Женщина с неряшливо подкрашенными хной волосами пожала плечами, а две другие дамы приветливо воскликнули:

— Милости просим. Очень приятно.

Ко мне подошла официантка в крахмальной наколке и коротком белом передничке и подала меню.

— Все радости мира, — развязно кинул я ей. — А если определенной — кефир, яичницу и кофе.

Мои сотрапезники молчали.

— Я помешал вашей беседе? — снова произнес я излишне оживленно. — Будем исходить из того, что все люди братья и сестры, хотя и не понимают своей всеобщности.

Надя болезненно поморщилась. Мужчина сказал густым красивым басом:

— Каждый человек кузнец своего несчастья. Об этом беседовали.

— Иван Константинович имеет в виду меня, — сказала крашенная женщина. — В молодости мне твердили: у тебя талант, талант, а я полжизни занималась биологическим рисунком, органы тела до иступления и ломоты в глазах царапала на ватмане. Только теперь взялась за ум: не веруя, иконы пишу.

— Извините, милая, но это цинизм, — заметила старушка с коротко стриженными седыми волосами. — И даже не краснееете?

— Соня, не надо! — умоляюще сложила руки другая. — Расскажи лучше, как ты участвовала в студенческих волнениях, когда дом покраснел.

— Любопытно, — произнес мужчина.

— До революции, в Киеве, — начала, подрагивая головой, старенькая Соня, — губернатор велел выкрасить здание университета в красный цвет, в знак того, мол, что учащаяся молодежь краснеет за нас, бунтарей. А молодежь выбрала этот цвет своим символом. По традиции наш университет до сей поры красят в красный цвет.

Тряхнув темными волосами, мужчина пробасил:

— Ой, суровая вы особа, София Викентьевна. А аря. Вот я тоже воякой был. Но скажу: мужество гражданское выше воинской доблести. Был я на войне смел, не лукавлю, жизни не жалел. А как вернулся в цивилизованное существование, стал бить хвостом перед каждой козявкой, от которой

зависел, суетиться начал, добывать, заискивать. И тогда презрел себя и выбрал иной путь, возможно, и ложный... с вашей точки зрения.

— Мой заказчик, — кинула крашеная женщина. — В его епархии куры денег не клюют. Пишу для него деву Марию с младенцем.

— Ну, об этом не надо, это лишнее, — заметил Иван Константинович. — В чем, скажу я вам, сложность в обществе. Надо побуждать человека к труду радостному, а ему говорят: хорошо сделаешь — больше получишь. Восходит это к вопросу — что есть человек?

Надя смотрела на меня в упор, словно требуя немедленного объяснения, зачем я тут на пароходе. А я не торопился: ел яичницу и обдумывал, как деликатней возразить.

— Понять свое назначение среди людей, — продолжал Иван Константинович, — не ошибиться в пути — вот главное. Слышал я однажды такой рассказ в столице. Будто в одном театральном заведении, кукольном театре, кажется, завели в фойе живых тварей, попугаев в частности, а к ним посадили канарейку. Поет она по-своему, а попугаи ее не понимают. Решила бедняга учиться попугайскому языку — ничего не вышло: и по-своему петь разучилась и иного не постигла.

— А вы, Иван Константинович? — спросил я. — Научились петь на два голоса, верно?

Надя положила на стол деньги, встала и вышла на палубу. Я хотел кинуться за ней, но передумал.

— Как нелепо, — говорила крашеная дама, — что судьба человека, особенно женщины, может зависеть от того, что нос ее или челюсть длинней обычного на два сантиметра — драма ужасней войны: женщину никто и никогда не полюбит.

— Какую чепуху вы несете, милая! — взорвалась Софья Викентьевна.

— Нет, нет, не скажите, — заметил я, расплачиваясь с

официанткой.— Это интересная мысль. Может быть, действительно наш общий долг прививать более широкие и человеческие представления о красоте.— Я раскланялся.— Спасибо и до встречи за обедом.

Выйдя из салона, я отправился к капитану, наслаждаясь своей выдержкой. Капитан сидел в рубке позади рулевого и перелистывал вахтенный журнал. Мы поздоровались молча, и я вручил ему для ознакомления бумагу с бланком газеты «Водный транспорт».

— Корреспондент? — безразлично произнес капитан.— Ладно. Только о нас писать поадно. В последний рейс идем. А там... на свалку.

— В какой каюте обитает Поливанова Н. С.? — спросил я.

— Рядом с тобой, сообразил?

— Да?!

— Хорошая женщина. Я уже старый гусь и не могу лететь за молодой в теплые края — заключут.— Он глядел на реку.— Четверть века капитанствую на «Уральце»... Расставаться тяжело. Это понятно?

Мы вышли с ним из рубки, на ветру его качнуло, он схватил меня за руку, чтобы не упасть, шепнул:

— Пролетела жизнь... А что вспоминается? Жалобное да смешное. Я на Днепре тогда служил. Идем в разлив мимо берегового поселка, где мой дом. А первые этажи уже под водой, и между жильем люди на лодках едят. Вижу, семейство мое на второй этаж перебралось к соседу, и жена из окна мне кричит: «Сними нас отсюда скорей — скоро совсем зальет». Отвечаю: «Завтра, на обратном пути — у меня груз срочный». — «Брошу я тебя. Жизнь мою погубила твоя река!» — вслед мне рыдает супруга. Через сутки идем обратным рейсом, гляжу — жена со всем скарбом, с собакой и кошкой уже на крыше, а около нее сосед со второго этажа, одинокий, помогает обед на керосинке стряпать, а детей нет. Кричу: «Где дети?» — «К бабке на лодке отправила, — отвечает, — за мной ты явился поздно». — «Брось! — прика-

зываю. — Сейчас к крыше подвалим, концы лови». А знаю — дело это опасное, мелкие строения, сарай под водой. Однако подплываем. Матрос бросает конец, а жена обнимает соседа и кричит мне: «Плыви дальше. Опоздал. Теперь я с Колей жить буду...» А я ее любил, жену. С того дня вся моя жизнь вкривь пошла...

По железной лесенке мы спускаемся на пассажирскую палубу, где старики и старушки отдыхают в шезлонгах или прогуливаются.

Окно моей каюты по-прежнему открыто, соседнее тоже. Я заглянул в него — Надя лежала на койке.

— Могу на минуту зайти к вам, Надежда Сергеевна? — громко спросил я.

Она обхватила плечи руками, но не поднялась и, кажется, ничего не ответила.

Капитан, поглядев на меня, сказал тихо:

— Иди.

Без стука я вошел в каюту к Наде и задал нелепый вопрос:

— Как самочувствие?

Она закрыла глаза и прошептала:

— Ведете себя как дурак, как дешевый фат!.. Неужели вы ничего не поняли?

— Ничего, — искренне признался я. — Почему вы сбежали из Москвы?

— У меня отпуск. Решила взглянуть на Реченск, город моего детства, где, оказывается, живет Алсуфьев.

— Какой Алсуфьев?

— Забыли? Тот, что написал статью против Сверблова и шлет письма в академию. Намерена его повидать и объяснить. — Мне показалось, что ресницы ее задрожали и на щеку пролилась слеза. — Вы действительно ничего не поняли.

— Надя!..

Почему-то мы говорили очень тихо, почти шепотом.

— Я не вышла замуж за Снежко. — Она засмеялась.

— То есть? Вы хотите сказать...

— О боже!

— Но почему?

— Вовремя поняла, что ничего хорошего из нашей совместной жизни не получится.

— А он?

— Что он? Что? Естественно, решил меня убить. Это вас устраивает?

— Скептик? Фокусник?

— Успокойтесь. Мы расстались друзьями.

— Я ничего не понял. Ничего. Но я нашел вас.

Я сел рядом с ней на койку. Визу шумела машина. Надя неожиданно спросила:

— Как ваш фильм... о Цезаре?

— Закончен. Показан. Осужден. Вознесен. Вы меня устыдили. Вы все помните.

В окне проплыла белая гора многоярусного дизель-электрохода, и нас слегка покачивает на поднятой им волне.

— Думаю уже о новой картине, — продолжаю я. — Перебираю жизнь, разные истории. Отдельные куски бросаю. Мне хотелось бы передать...

И я бормочу стихи:

Мчались звезды. В море мылись мысы.
Слегла соль. И слезы высыхали.
Были темны спальни. Мчались мысли.
И прислушивался сфинкс к Сахаре...

Море тронул ветерок с Марокко.
Шел самум. Храпел в снегах Архангельск.
Плыли свечи. Чернолик «Пророка»
Просыхал, и брезжил день на Ганге...

— Мне хотелось бы передать ощущение драматической
единовременности жизни... Серьезность нависшей опасности...

— Понимаю,— искренно произносит она.

— Спасибо.

Я гибну от растерянности, нежности и любви.

И вдруг она по-детски зевает и виновато говорит низким своим голосом:

— Совсем не сплю... Не сердитесь. Река, что ли, будоражит...

Я поднимаюсь и отступаю к двери.

— Я рядом,— говорю таинственно,— мы соседи.

К обеду и ужину она не вышла. Я не знал, как поступить, понимая лишь, что мне не следует быть назойливым.

Ночью я снова не мог заснуть. Быть может, и она за стеной мучилась без сна.

На какой-то пристани грузили в темноте на наши пассажирские палубы ящики с помидорами, хотя трюм был пуст. Капитан и грузовой помощник хрипло переговаривались под моим окном.

— К полудню опять скидывать груз,— ворчал помощник,— чего ж нам его в трюм загонять?

На рассвете, выйдя из каюты, я увидел темнеющие вдоль берегов заводские постройки, верфи, затоны, причалы. Навстречу тянулись сильные маленькие буксиры с черными трубами. Напрягаясь, они тащили баржи с кранами и стянутые тросами острова из бревен. Река была как улица в предутренние часы.

Я увидел Надю на носу парохода. Ветер поднимал ее платье, она пыталась зажать подол между колен. Я подошел, и она сказала:

— Спасибо.

— За что? — спросил я.

Позже, когда мы вошли в салон, там уже сидел Иван Константинович.

Поздоровавшись с ним, мы сели за стол.

- За что спасибо? — спросил я Надю.
- Знаете.
- Подопытный выдержал очередное испытание?
- Да. У меня сегодня даже хорошее настроение.

За овалом окон неслись на нас тучи. Временами салон окутывал со всех сторон белесый легучий туман. В тумане гудел встречный пароход и звонил колокол.

— Вот вы меня давеча обвинили, — поглядев на меня, вытер губы бумажной салфеткой Иван Константинович. — Хочу ответить: пою по убеждению. Верю в единую высшую силу — называйте ее, как хотите: вселенской совестью, мировым разумом, богом. А вы, простите меня, наверняка суеверны, как большинство материалистов. — Он поднимает свои темные глаза, но глядит не на меня, а на Надю. — Единую духовную силу не признаете, а потому в страхе перед властью случая и несчастья верите в черную кошку, в дурные числа, показываете фиги в кармане при встрече с нашим братом священнослужителем.

— А вы не показываете? — смеюсь я, счастливый тем, что рядом со мной Надя. — Скажем, на улице, столкнувшись с коллегой?

— Случается, — добродушно отзывается приятным голосом Иван Константинович. — Тайнственна, непоследовательна душа человека. А вы суеверны, суеверны, нутром чувствую. Да и как объяснить иной раз опасения и порывы человеческие, капризы судьбы или женщины, которую любишь? Вот вам дорога Надежда Сергеевна, это за версту видать. И она к вам, как замечаю, с добром относится. Однако и над вами, друзья мои, властен случай, подозрительность, злые люди, тьма собственной души. И как тут не поверишь в суеверные символы? — Он ласково поглядел на Надю. — Не сердитесь на меня за прорипательство. Все это игра, празднословие.

— Тем более что я не суеверна, — весело кинула Надя.

За окнами сверкнула молния, донеслись раскаты грома. Священник поднялся, поклонился, пожелал приятного ап-

петита, неторопливо вышел на палубу. Опять полоснула небо где-то совсем близко молния, и все стало белым. От грохота и треска зазвенела посуда на столах. Потом вдруг потемнело, и в разрыве облаков вспыхнул желтый свет.

— По-моему, там, на реке, все становится похожим на эти жуткие пучины,— беззаботно сказала Надя, показывая на аляповатые копии Айвазовского.

Позавтракав и накинув плащи, мы с трудом вырвались из дверей на палубу: ветер валил с ног. Нас бросило об стену. Надя, чтобы не упасть, обхватила сзади меня за плечи. Мимо, словно слепой, прошел, пошатываясь, капитан и стал подниматься в рубку, цепляясь за поручни и нагибая голову. Поглядев вверх, мы увидели, что он отодвинул вахтенного и сам стал за штурвал.

Река сузилась, сигнальные знаки на воде и на берегу пропали во мгле — судовой ход стал тесным и опасным. Шипя, закипал косой дождь, словно стремясь залить вспышки электросварки в небесах.

Надя крикнула мне:

— Как дура всему сегодня радуюсь.

Близко от нас пронесло несколько, видимо, оторвавшихся от причалов лодок. Они прыгали на волнах. Ящики с помидорами бились друг о друга, и палуба под ними розовела от сока. Я никогда не думал, что такая буря возможна на реке. По палубе бегали матросы, в коридорах хватались за стены перепуганные пассажиры. Иван Константинович и несколько храбрых вымокших старушек, в том числе и Софья Викентьевна с сестрой, пытались их успокоить.

И вдруг ветер стих, и на некоторое время мы пропали в низком сыром облаке. Где-то рядом проплыл звук колокола, и хрипло закричали на реке сразу несколько пароходов. Потом наступила тишина, только было слышно, как плещется в тумане вода о борт. Но все еще сильно покачивало. Пассажиры, держась за стены, выползали из коридоров на палубы.

Насквозь вымокший старший помощник с опозданием натягивал на себя штормовку, разъясняя старикам и старушкам, что опасности больше нет. И в эту минуту раздался откуда-то снизу глухой треск, пароходик резко накренился, все повалились друг на друга, и я понял, что мы сели на мель. К несчастью, догадка моя оказалась верной. Снова налетел ветер и стал кренить наше суденышко с пустым трюмом и грузом наверху на один бок. Началась паника. Мы с Надей пытались помочь старшему помощнику и матросам перегнать пассажиров на подветренный борт, и в конце концов это нам удалось. Но пароходик среди ливня и грома все больше наклонялся под напором ураганного ветра, а вокруг пенилась грозная река. Положение было критическим. Мы кинулись в Надину каюту, сложили в целлофановый пакетик ее и мои деньги, не стыдясь, быстро разделись почти донага — на мне остались плавки, на ней — некое подобие купальника.

Уже на бегу, в коридоре, она засунула пакетик с нашими деньгами за лифчик. Дрожа от холода, мы уселись на подветренном борту, свесив вниз ноги, готовые прыгнуть в кипящую реку, если пароходик опрокинется на противоположную сторону. Мы дрожали под ливнем и молниями, все еще пытаясь смеяться. Небеса грохотали, слышались крики. Не помню, сколько времени, прижавшись друг к другу, мы ожидали решающей минуты. Вероятно, довольно долго. Наконец ветер ослабел, перестал дождь, и опять мы потерялись в низком белесом облаке.

А потом облако растаяло, и нас ослепило солнце. Когда мы бежали обратно в Надину каюту, старики и старушки глядели на нас вслед озадаченно. Я запер дверь и бросил Наде жесткое купальное полотенце. Она прижала его к груди и вскрикнула: целлофанового пакетика с нашими капиталами не оказалось. Видимо, Надя уронила его в реку. От холода зубы ее стучали. Мы глядели друг на друга, ослепленные светом реки, сознавая постепенно свою наготу

и всю нелепость случившегося. Я принужденно улыбнулся, Надя закуталась в полотенце и прошептала:

— Идите к себе.

— Нет.

— Идите. — И уже резко: — Идите же, вам говорят.

На закате буксиры стянули наш пароходик с мели, и он дотащился до ближайшей пристани, где были затон и плавающие мастерские. Пассажирам капитан предложил на выбор — пересест на другое судно или остаться на «Уральце» и ожидать, пока закончат ремонт. Мы с Надей, единственные, кажется, решили остаться, потому что приплыли в Город ее детства.

Когда пароходик стал на прикол третьим от рабочей пристани и матросы перекинули верховые мостики через палубы соседних судов, явилась судоходная инспекция. Инспекторы разговаривали с капитаном неподалеку от нашего раскрытого окна. Капитан, не отрицая своей вины, плакал. Потом мы слышали, как вниз, в столовой команды, началась громкая гульба. Мы сидели в Надиной каюте, едва различая друг друга в темноте. Матрос принес нам свечи. Электричество на «Уральце» не горело — во время аварии вышел из строя генератор.

Позже к борту подвалила плавучая мастерская, и мы с Надей молча прислушивались к железному гулу в пустоте нашего старенького корабля. Потом гул стих. Снизу, из глубины, теперь доносились переборы гитары. В коридоре раздались голоса, в нашу дверь постучали. Капитан прислал за нами матроса и девушку просить спуститься вниз, в компанию.

— А что? — шепнула мне Надя. — Даже интересно. — И крикнула через дверь: — Сейчас придем. Спасибо.

— Никогда не подумал бы, что вы на это способны, — сказал я.

Она натянула на себя в темноте свитер. Задула свечу. Мы вышли в коридор, ошупью нашли винтовую лестницу

и стали спускаться по металлическим ступеням. Внизу нас встретил капитан со страшноватым лицом, освещенным снизу ручным фонариком. Капитан был трезв. В столовой команды, в слоистом табачном дыму, сквозь который желтели две лампочки, подключенные к переносному аккумулятору, танцевали под гитару матросы шерочка с машерочкой. За длинным столом сидели инспекторы, старший и грузовой помощники и две девушки.

— Корреспондент и его, так сказать, знакомая, Надежда Сергеевна, — представил нас капитан.

— Почему «так сказать»? — поинтересовалась Надя.

Капитан не ответил, усадил нас за стол и сказал:

— С «Уральцем» прощаемся. Починимся, довезем вас — и все. А меня на пензу.

Парни перестали кружиться друг с другом. Один из них, рослый моторист в распахнутой голубой рубашке, подошел к Наде и сказал:

— Потанцуем?

— Конечно, — сказала Надя.

Грузовой помощник включил магнитофон. С сосредоточенным выражением лица моторист взял Надю большими руками за талию, и они стали медленно покачиваться. У моториста на влажной широкой груди была наколота анилиновая татуировка: голая женщина, обвитая змеем, и слова: «Все было».

— Неужели все? — подняла лицо Надя.

Парень покраснел, посмотрел на меня и стал, оправдываясь, объяснять Наде:

— Наклоли мне дружки эту глупость, когда пятнадцатилетним пацаном был, а теперь никак не сведу. В Москве, говорят, есть врач, он свести может, но большие деньги берет. Однако все равно поеду к нему. Я ведь семейный человек, жена образованная, двое детей...

Он медленно кружил Надю, чуть касаясь ее талии левой рукой, а правой смущенно застегивал рубашку.

— Красивая женщина, наверное, артистка? — спросила меня соседка — тоненькая высокая девушка со щеками, усыпанными веснушками.

— Много страшней: медицинский психолог. А вы?

— А я матрос. Поставлена на уборку. Но в будущем году пойду учиться.

— И на кого?

— На судью.

— На судью? — удивился я. — Почему на судью?

— Чтобы справедливость была. — Девушка поглядела на капитана. — Люди больше всего, как я замечаю, от несправедливости страдают.

Моторист деликатно подвел Надю к столу и сказал:

— Извините.

Молодой инспектор, тот, что неотрывно глядел на Надю, пока она танцевала с мотористом, в голос крикнул мерзкие похабные слова. Я вскочил, шагнул вперед в желтоватый туман, но моторист опередил меня и, подняв его за шиворот, двинул кулаком в пьяное лицо, тотчас отекшее кровью. Двое матросов схватили моториста за руки, но тот вырвался, раскидал всех и еще раз стукнул инспектора. Началась свалка. Конопатая тоненькая моя соседка заплакала, закрыв лицо детскими руками. Капитан и его помощники пытались разнять дерущихся. Надя медленно поднялась, ударила по столу кулаком, поблуднев, кинула:

— Прекратите сейчас же! Я ни в чьей защите не нуждаюсь, слышите?!

Удивительно, но голос ее развалил свалку — парни стали озираться, утирать лица, подняли с пола и посадили обратно на табурет молодого инспектора с разбитым ртом.

Мужчины глядели на Надю, отводя глаза. И я глядел на нее. Передо мной стояла женщина с чуть закинутой головой и узкими глазами, внутренней силе которых нельзя было не подчиниться. Я не знал эту женщину. Если действительно она разыгрывала с безумцами психодрамы, то они, несомнен-

но, теряли над собой контроль и беспрекословно подчинялись ее приказу.

Поднимались мы обратно в гулкой пустоте молча, а потом долго не могли найти Надину каюту — спичек у меня не было. Я рассмеялся.

— Что за приступ веселья? — спросила Нади.

— Понял, что решил жениться на вас по расчету, чтобы не пропасть в этом мире.

Мы остановились посреди коридора, не видя друг друга, и она каким-то чужим голосом произнесла:

— А вы решили на мне жениться?

Я обнял ее за плечи, но она высвободилась из моих рук.

— Вот, по-моему, моя каюта. Ключ у вас? Откройте, пожалуйста.

Я отпер дверь, но не посмел войти вслед за Надей...

На рассвете, лежа на своей койке, я опять слышал, как отдавались в железной пустоте удары молотков. Позже до меня донесся звук захлопнувшейся соседней двери и легкие Надины шаги в коридоре. Я выглянул в окно, но ее не увидел.

Она пропадала довольно долго и вернулась часов в одиннадцать с сумкой, полной провизии, и весело сообщила, что ходила в ювелирторг, где продала свое дорожное оправленное в серебро зеркало, а на вырученные деньги купила на базаре еду и фрукты.

— И теперь мы сказочно богаты!

— Надя, вы унижаете меня своей коммерческой предпримчивостью и бескорыстием, — заявил я.

За завтраком, который Надя сервировала в носовом салоне, я спросил:

— Ну как Город детства?

— Я его не узнала. Это очень грустно. Но я еще не была на своей улице, не видела свою школу. Пойду попозже. И без вас. Не обидитесь?

— Конечно, нет.

— На рынке встретила женщину, которая была невестой моего брата Волика. Теперь она местное горисполкомовское начальство. Прошло столько времени, однако она говорила со мной только о Волике и с ненавистью. Как вы понимаете, он ее бросил.

— Я не знал, что у вас есть брат.

— Вы многого еще не знаете. — Она поглядела мне в лицо, сделала глубокий вдох и, рассмеявшись, стала не без юмора рассказывать о Волике — скрипаче, альпинисте, вечном бродяге, исколесившем Арктику, Сибирь и Дальний Восток. Он называл себя Сыном солнца, говорил, что вольфах его полюбила белая медведица, бывая у сестры на даче, варил себе крапивный сок, жевал сосновые иголки, всех учил, как надо дышать и лечиться травами, однако был гуляка, менял жен, всякую возлюбленную поначалу боготворил, называл «моя святая святых», а после очередной любовной катастрофы уезжал куда-нибудь. Однажды почему-то окончил курсы метеорологов и махнул на метеостанцию в горы для того, чтобы там, вдали от неблагодарных людей, в гордом одиночестве совершенствоваться в скрипичном искусстве. Зимовал с конем и собакой на опустевшей турбазе, брал какую-то горную вершину во главе группы скалолазов, растерял почти всех своих спутников, отморозил себе ноги и чуть их не лишился. Хотел быть сильным, однако человечность понимал своеобразно, видел ее не в единении с людьми, а в слиянии с природой, в одиночестве.

— В детстве, — говорила Надя, — рос он слабеньким, пугливым лгунишкой, искал какие-то клады, меня боялся. «Ты должна была родиться мальчиком, — говорил отец, — а он девочкой». И заставлял Волика драться с ребятами, брал с собой на паровоз в рейсы. Я была старше брата всего лишь на два года, но у меня вечно болела за него душа. Родители рано умерли, и мы переехали в Москву. Волик поступил в консерваторию, сразу как-то возмужал, ко мне стал

относиться покровительственно, и жизнь его понеслась в сторону...

Пока мы завтракали, в салон несколько раз заглядывали члены команды: моторист, вчерашний Надия кавалер, грузовой помощник, матросы, тоненькая высокая девушка с личиком, усеянным веснушками. Все с нами смущенно здоровались и тотчас исчезали.

Возвращаясь к себе, мы увидели девушку, одиноко стоящую у борта. Она смотрела на реку. С реки несло свежестью туч, а с пристаней — нефтью и гнилой рыбой.

В каюте Надя дала мне десять рублей.

— Вот вам средства на дневное пропитание. Пообедайте на пристани... или где хотите. Я вернусь не скоро.

— Моей мечтой всегда было пожить за счет богатой соблазнительной авантюристки, — кинул я, пряча деньги в карман.

— Жалкий трепач!

Ее лицо, ее тело, ее душа были созданы для меня, и я прошептал:

— Я сдохну без вас!

— Вранье, — сказала она. — Дайте мне плащ. Я удаляюсь в Город моего детства. Ведите себя пристойно. — И она скрылась за дверью.

— Надя! Надя! Надя!..

Вернулась она в сумерках, усталая и огорченная.

— Вы обедали?

— Нет. Питался объедками.

— Сибарит! — сказала она.

— Я работал. А сибариты погибли от безответственного отношения к искусству.

Надя скинула плащ и стала умываться тепловатой водой из раковины.

— Сибаритами назывались жители древнегреческой

колонии Сибарис, — продолжал я. — Они обитали на юге Италии в VI веке до нашей эры и были народом богатым. Поэтому им приходилось защищать свой сибаритизм с оружием в руках. Они научили боевых коней танцевать под музыку, враг пронюхал об этом, вывел на поле битвы оркестры, кони заплясали, и сибариты были смяты и побеждены... К искусству нельзя относиться легкомысленно.

Она села рядом со мной и принялась поднимать с полу мои бумажки с записями.

— И что же вы сегодня придумали в пику сибаритам?

— Новый пролог для будущего шедевра.

— Расскажите, — она сложила мои листки и погладила их. — Когда вы рассказываете, я вам верю и как-то успокаиваюсь... Мне делается уютно и начинает казаться, что наш картонный домик на воде устойчив и никогда не потонет.

— К несчастью, потонуть может мир. Мой шедевр связан с этой невеселой возможностью. Должен сознаться, если я не думаю на рассвете о вас, то предаюсь только ужасным мыслям о человечестве. В новом фильме я должен создать героев, которые бросают вызов преступлению войны.

— Это прекрасно! — произнесла Надя и протянула мне листки. — Людям нужна надежда.

— Я тоже в этом убежден. Но тут вы со Свербловым уже все решили — человек биологически добр.

— И к сожалению, агрессивен. Прочтите, что вы написали, пожалуйста.

— Вам бы только отвлечь меня от...

Она закрыла мне рот ладонью, и я прорычал:

— Я хочу смотреть на вас!.. Целый день вы где-то пропадали.

— Ну, прошу вас.

— Читать не стану. Это черновик. Если хотите, расскажу суть. Общую суть замысла. Наше с вами существование зависит от кучки алчных агрессивных безумцев, готовых прикончить жизнь на земле. Люди во всем мире вышли на улицу,

поднялись на борьбу. Но демоны пока спокойны. А надо поразить их мыслью, что расплата неминуема и от нее не уйти, не скрыться. Ядро моего сюжета — заочный, международный суд над властвующей капиталистической элитой, над той ее частью, которая жаждет войны, благоденствует за счет подготовки всемирного убийства. Идея не столь утопичная, как кажется на первый взгляд. — Я порылся в своих бумажках и извлек газетную вырезку. Вот, слушайте... «Вчера в Нюрнберге, городе, вошедшем в историю как место, где состоялся суд народов над главными военными преступниками гитлеровской Германии, завершил свою работу «Международный трибунал против оружия первого удара и массового уничтожения». В городском зале Майстерзингерхалле собралось около 700 человек: эксперты по вопросам вооружения, разоружения, безопасности, представители движения за мир из разных стран Европы, США и Японии». Это был суд над фактами, а я хочу дать процесс, где подсудимыми будут виновники опасности, нависшей над людьми, — хозяева денег, знаний, военных технологий. Суд над ними — центр сюжета, в который войдут новеллами предыстории моих героев — жертв милитаризма и борцов за мир разных наций. Они и станут свидетелями и судьями. В широкой картине хочу соединить вымысел, хронику и драматизм... Почему вы улыбаетесь?

— А я улыбаюсь? — переспросила Надя. — Вероятно, потому что рада...

— Чему?

— Мне нравится ваш будущий фильм. Идите отдохните, у вас усталое, измученное лицо...

— Нет. — Я засунул листки и вырезку в карман и мрачно сказал: — Я околею, если вы меня прогоните.

— Вам надо поест. Хотите воблы с огурцами?

— Я хочу смотреть на вас.

Надя откинула занавеску. За окном кричали над приста-

нями чайки. Темнеющее небо было серым и грустным, пахло дегтем, арбузами и нагретой пылью.

— Зажечь свет? — спросила она.

— Не надо. — Я взял ее за руки и усадил напротив себя. — Знаете, сперва я хотел учинить суд над богами — не над людьми. Женщины из потонувшего мира... вроде вас... боясь потерять на войне возлюбленных, отправляются на Олимп, и там, путем обмана, похищают громовержца Зевса, воинственного Марса, алчного Меркурия и прочих и судят их в подземелье, где протекает река Стикс, в присутствии перевозчика Харона. Но, поразмыслив, решил сделать из этого всего лишь интермедию, которой будет перебиваться реальный суд над преступниками.

В каюте стало совсем темно. В глубине пароходика что-то постукивало, гудело, изредка доносились голоса. Матрос опять принес нам свечи. Оказывается, генератор до сих пор не починили. Я чиркнул спичкой и поджег фитиль.

— Одну свечу вам, другую мне, — сказала Надя.

Мы сидели друг против друга, и каждый держал в руке теплющуюся свечу.

— Покойной ночи, — кивнула мне Надя.

— А что с вами было днем? — спросил я.

— Лучше бы я туда не ходила... Дом, где я родилась, сносят, чугуном шаром валият стены. Нашла жилище Алсуфьева. У них сад, флоксами одуряюще пахнет. Это в конце города. Там еще осталась булыжная мостовая, и между камней травка такая зеленая, а за оврагами белые бесприютные, какие-то марсианские высотные дома, от вида которых сжимается сердце. У Алсуфьева дети — дочка и двое сыновей. Дочка славная — нелепая такая толстененькая личность в белом фартуке. Самого Алсуфьева не застала... Обратно шла опять через базар. Конским навозом пахнет — это же невероятно! — солеными огурцами, хотя подводы разъехали и ряды пусты.

— Я люблю вас, — прошептал я.

Мы все еще держали в руках свечи.

— Я знаю,— просто сказала Надя.— Но... не торопите меня.

Я задул свою свечу и в темноте пошел по коридору и еще долго стоял один на палубе, обвеваемый сырым теплым ветром и смотрел на реку.

Рано утром, часов в пять раздался резкий стук в дверь, и я проснулся.

— Кто там? — спросил я.

Стук повторился, и я понял, что стучат к Наде, а не ко мне.

— Да? — тихо произнесла Надя за перегородкой.

— Открой. Это я, Волик,— донесся из коридора хрипловатый мужской голос.

— Подожди,— сказала Надя.— Я сейчас к тебе выйду. Откуда ты взялся?

— Ты не одна? — откашлявшись, спросил Волик.

Я услышал, как Надя щелкнула ключом и вышла в коридор.

— Ну тебя к черту, сестрица,— проворчал за дверью Волик.

— Ты что такой взъерошенный? — спросила Надя.

— Я всю ночь не спал. Ваш дурацкий пароходишко искал на всех пристанях. Внизу, на пирсе, тебя ждет Снежка.

— Снежко?!

— Я с ним прилетел.

— Откуда?

— Из Москвы, конечно.

— А твоя метеостанция?

— Ясное дело, вернусь. В столице мне надо смычки починить.

— Подожди меня на палубе. Я должна привести себя в порядок. Я быстро.

Надя возвратилась в каюту и спросила меня через перегородку:

— Вы не спите?

— Я пойду с вами,— заявил я, быстро одеваясь.

— Ни в коем случае.

— Я вас одну не отпущу.

— Вы останетесь здесь и никуда отсюда не выйдете.

И, ради бога, не волнуйтесь.

Я обернулся и увидел в окне Волика. Скрипач был почему-то в выгоревшем морском кителе и фуражке с крабом. Заметив меня, он хотел что-то сказать, но вместо этого только коротко козырнул. Я вспомнил Надины рассказы о брате и понял по его виду, что создавшаяся ситуация его безусловно воодушевляет — и на этот раз он участник приключения, связанного с опасностью.

В окне рядом с Воликом появилась Надя, чмокнула брата в щеку. И они быстро спустились на нижнюю палубу к трапу. И все мне показалось нереальным — черная холодная река, ветер, крутящий пыль на пустынных пристанях, Снежко, где-то среди серого утра ожидающий Надю.

Нет, я не мог ждать в безвестности. Натянув куртку, я бросился по железной лестнице к мосткам, перекинутым через верхние палубы соседних судов. С трудом удерживая равновесие, под хлопающими ударами ветра, крался, пригибаясь, чтоб не быть замеченным. Наконец я оказался на крыше плавучей пристани и, поглядев вниз, увидел под собой у края причала Надю и Снежко.

Он был в расстегнутой военной шинели с покоробившимися погонами офицера медицинской службы и с непокрытой головой. Ветер гнал в пыли по пристани большой арбуз. Он ударился о трап, взлетел и шлепнулся в воду.

За пирамидой арбузов стоял Волик в своей капитанке рядом с высоким юношей в школьном пиджачке, который был ему мал. В эти мгновения я забыл, что Волик плавал на ледоколах в Арктике, а Снежко окончил военно-медицин-

скую академию, и поэтому их одежда представилась мне неестественной, усиливающей чувство нереальности происходящего. Я не слышал, о чем говорили спокойная Надя и Снежко с несчастным небритым лицом. Он держал в одной руке фуражку, а в другой маленький плоский чемодан. Потом он открыл его — в нем лежали, как мне показалось, пистолет и пачка денег пятерками. Снежко надел фуражку, а я приготовился прыгнуть вниз. Но он взял деньги и протянул их Наде. Она отстранила его руку, покачала головой и медленно пошла к трапу. Снежко все еще стоял с открытым чемоданчиком, а ветер вздымал полы его шинели. Мимо прошли Волик и юноша и нагнали Надю. Я быстро побежал обратно по зыбким мосткам, раскачиваясь и спотыкаясь на ватных подкашивающихся ногах, словно во сне. Я первым вернулся и сел с бьющимся сердцем на край Надиной койки. В коридоре послышались голоса. «Иди к нему, Волик. И уезжайте, уезжайте тотчас», — открывая дверь, произнесла Надя. За нею вошел в каюту юноша. Она сказала: «Это мой сын. Снежко привез его, чтобы разжалобить меня» — и рыдалась.

— Не надо, мать, — сказал юноша и погладил Надю по спине.

Я был ошеломлен, понимал, что все менялось с этой минуты. Но сейчас ни о чем не смог спросить Надю. Юноша посмотрел на меня с серьезным, чуть снисходительным выражением доброго некрасивого лица.

— Витяня. Виктор, — протянул он мне крупную руку.

Я заставил себя улыбнуться и произнес с фальшивой бодростью:

— Да мы с тобой одного роста, Виктор.

— Мать молодая женщина, — кинул он как-то невесело, — а сын здоровый олух, да?

— Я пойду поработаю, — сказал я, поглядев на Надю. Она стояла выпрямившись, с чуть закинутой головой, как

позавчера ночью, когда крикнула матросам: «Я в защите не нуждаюсь».

— Виктор, — сказала сыну Надя, — это человек, с которым я дружу и который до этой минуты, кажется, ничего не знал о твоём существовании. — И предупредила меня: — Завтракать будем, как всегда, в салоне на носу. Минут через сорок. Не опаздывайте.

Войдя в свою каюту, я сел к столику у окна и принялся бессмысленно перебирать бумаги, перекладывая их с места на место. И неожиданно что-то внутри вспыхнуло, вспомнилось, и мои мысли понеслись, словно их подхватил порыв ветра. Я схватил ручку и стал писать: «Вот как должен начинаться фильм...

Старинный западный городок, готические церкви, уютные кофейни. Приехавшие из деревень ряженные на ходулях, гулянье на площади магистрата, играет духовой оркестр, воскресенье.

Из ворот иностранной военной базы выходят танки и направляются направо, в сторону моря, один танк сворачивает влево.

Убыстряя ход, танк сбивает крестьянские повозки и велосипеды, врывается на городскую площадь, опрокидывает газетный киоск, сминает полицейский автомобиль, врывается в витрину, таранит пустой, ожидающий пассажиров автобус. В страхе разбегаются ряженные и музыканты с медными трубами.

Танк преследует толпу, и слышны переговоры по телефонам, сигналы тревоги, крики сирен.

Несется по улицам в военной машине офицер, командир обезумевшего танкиста.

Танк кружит по площади, сбивая фонари, ломая стены. Машина пересекает ему дорогу, но танк не останавливается. Офицер кричит в мегафон:

— Выйди и сдайся! — На несколько мгновений танк замирает. — Сдайся! Ведь и я, твой командир, отвечаю за все, что ты натворил. Выйди и сдайся, спаси себя и меня. Я приказываю тебе сдаться. Я умоляю тебя!

Танк резко с лягом разворачивается и бросается на машину. Офицер едва успевает дать задний ход.

— Идиот!

Офицер, отчаянно сигналив, сворачивает в переулок, в другой, третий, выскакивает из автомобиля, бросается в подъезд психиатрической клиники, в которой танкист тайно лечится от душевного недуга — военных врачей он боится: могут убрать из армии, лишить заработка. Офицер знает — в клинике работает медицинской сестрой волюбленная танкиста.

Офицер находит ее и сажает в машину.

— Да, это ужасно! — восклицает медсестра. — Это должно было однажды случиться. У него психоз войны.

Танк застрял в узкой улочке между средневековыми домами. Женщина обращается к танкисту, умоляя его покинуть танк и сдаться.

Но крышка башни не открывается, танк молчит.

Женщина приближается к танку, говорит скрытому от нее железом танкисту, что он болен и потому не виноват, и все это можно доказать, говорит, что он не имеет права погибнуть и должен сдаться ради их любви, их ребенка — ведь женщина беременна, неужели он забыл об этом?

Женщина умоляет танкиста проявить благоразумие. Обращаясь к молчаливой броне как к живому существу, женщина кричит и шепчет стиснутому строением средневековой улочки танку всю правду о своей любви и ужасе перед будущим. И вдруг танк заревел, рванулся вперед, обрушил угол ветхой стены — офицер едва успел оттащить женщину.

Она крикнула вслед танку:

— Твоя мать здесь. Хоть ее пожалей! Чтобы тебя увидеть, несчастная старуха пересекла океан...

Офицер решает, что необходимо скорей привезти сюда мать танкиста, и они с женщиной мчатся в гостиницу.

И вот мать стоит посреди площади, на которую опять вырвался танк. Еще одна трагическая исповедь перед обезумевшим железным чудовищем: старуха умоляет сына пожалеть ее и сдаться. Вспоминает, каким тихим и покорным ребенком был танкист, вспоминает, как она сидела у его изголовья, когда он болел корью. Старая женщина едва стоит на ногах, ей приносят из кафе стул, и она садится напротив постукивающего мотора танка и тихим голосом продолжает говорить с сыном, который скрыт от нее горбатой броней.

Между тем сзади и с боков танк окружают машины с вооруженными людьми.

Они уже готовы на штурм, но в этот момент к офицеру подлетает мотоциклист и сообщает, что танкист украл бомбу и может взорвать все вокруг, если на него кинутся.

Офицер потрясен, приказывает машине с вооруженными людьми остановиться.

А мать продолжает тихо уговаривать сына, как маленького. Она все еще сидит на стуле посреди площади возле опрокинутого трамвая, а возлюбленная танкиста стоит в стороне на коленях, с распустившимися волосами среди стекла и щебня и молит танкиста пожалеть ее, их будущего ребенка и несчастную мать.

— Ведь ты же человек, человек!.. — шепчет она. — Кому ты мстишь?!

Крышка башни откидывается, и появляется лицо истерзанного девятнадцатилетнего мальчишки. (На вид он чуть старше Виктора, Надиного сына.) Он плачет. Он растерянно, беспомощно озирается, видит мать, медсестру, друга, губы мальчишки что-то шепчут. И тут раздается треск автоматной очереди, пули стучат по броне.

Танкист захлопнул крышку, железное чудовище в ярости

развернулось и понеслось на машины, все сокрушая на своем пути.

Мчится танк в дыму и грохоте через поля, мосты, поселки и города, угрожая разрушением и гибелью, и перед ним разбегаются людские толпы.

Всюду установлены громкоговорители. По радио к танкисту обращаются мужчины и женщины, с которыми его когда-либо столкнула жизнь — солдаты, хозяева лавчонок, священники, врачи, учителя, проститутки, бывшие одноклассники. А возлюбленная танкиста в эти мгновения кричит среди стекла и щебня — у нее преждевременные родовые схватки.

Ее везут в клинику.

Несется в дыму и грохоте танк, звучат мольбы и молитвы мира.

Женщина родила мальчика. Несется танк. Кто его останавливает? Кто? Врач бьет сына танкиста по ягодицам, и младенец издает первый крик.

Крик ребенка над танком, над дымом, над смертью...

После завтрака Надя сказала, что еще раз хочет погледеть на улицу, где родилась, и заглянуть к Алсуфьеву, и мы втроем отправились в город. Я все еще жил в сочиненной сцене, слышал грохот несущегося танка, крик ребенка и не задавал Наде никаких вопросов. Однако заметил, что Виктор, несмотря на объяснение матери, не понимает наших отношений.

...Увидев на площади здание музея с вывеской над входом: «Передвижная выставка живописи Возрождения», Виктор взял Надю за рукав и попросил:

— Мать, мне неохота глядеть на твою улицу, пойдем в музей.

Его просьба меня удивила, а Надя согласилась тотчас и даже с каким-то облегчением.

— Вы составите компанию Витяне? — сказала она мне. — А на обратном пути я за вами забегу.

В музее были дощатые, покрытые желтой краской и сильно вощенные полы. Нам выдали огромные войлочные шлепанцы с завязками, и мы заскользили по пустынным в этот час маленьким залам с нишами и колонками.

В свежепозолоченных рамах висели по большей части копии. Виктор остановился и как-то искоса, враждебно поглядел на изображение обнаженной женщины с отвисшим животом и простертой вверх рукой в браслетах. Женщина лежала на постели под тяжелым балдахином, за складками которого виднелось настороженное лицо служанки.

— Рембрандт ван Рейн, — прочел я на табличке. — «Даная». Конечно, копия.

Золотисто-розовые руки Данаи, ее ноги, едва прикрытые ниже колен легкой тканью, ее лицо, такое далекое от классического канона, ее глаза с тревогой ожидали бога, избавления, любви. Смущенный хмурый взгляд Витяни скользил по обыденно несовершенному, рыхлому телу Данаи.

Потом он увидел в соседней раме опустившегося на колени кентавра, его бородатое страдальческое лицо над коленями женщины.

— Получеловек-полулошадь, — пояснил я. — Решил похитить жену Геракла. Рубенс. Копия.

Витяня поглядел на меня с выражением немого запретного вопроса, и я отвернулся, стесненный этим взглядом, вынул блокнот и, немного подумав, записал: «Художник тоже кентавр — не в буквальном, конечно, смысле... живет одновременно реальной жизнью и воображаемой... Но один из свидетелей в «Трибунале» пусть скажет: «Каждый человек кентавр — над ним еще властны копыта, а голова стремится к добру и познанию».

— Они все голые, — откашлявшись, спросил Витяня, — потому что Возрождение?.. Ренессанс?..

Мы перешли в соседний круглый залчик и остановились

перед картиной Бернардо Строцци «Старая кокетка». Морщинистая старуха с розовыми лентами в седых волосах разглядывала себя в зеркале.

— Мать никогда такой не будет! — неожиданно резко и запальчиво кинул Витяня.

Мне стало совсем не по себе.

На нас глядели со стены мадонна с младенцем, и Христос, истекающий кровью, со связанными руками, и жертвоприношение Авраама, и лицо Исаака, закрытое старческой рукой отца, чтобы не вырвался последний крик, и в окружении амуров полная покоя и счастья Венера, совершающая утренний туалет.

И смотреть на все это нам обоим с Витяней было почему-то (впрочем, я понимал почему) сложно и неприятно, и мы стали бродить по комнатам музея, а потом вышли наружу и сели на ступеньках ожидать Надю.

— А почему ты не захотел пойти с матерью? — спросил я Витяню.

— Есть причина, — неохотно ответил он. — Только объяснять не стану.

Через площадь шла к нам Надя. Еще издали она крикнула:

— Мужчины, хотите на реку?

С помощью моего удостоверения из «Водного транспорта» мы довольно легко раздобыли лодку и вместе со всеми не произнесенными вслух вопросами и сомнениями поплыли вверх по течению вдоль плесов к одинокому пустынному островку. Ветер стих, река успокоилась.

Надя сидела на руле. Витяня сменил меня на веслах, и я лег на носу, и мне показалось, что река опрокидывается на меня сверху, а небо летит вниз. Я слышал, как после каждого удара весел с них капает вода.

— Ловите яблоки, — крикнула Надя. — Набрала в саду, где мы летом спали с Воликом в шалаше. Яблоки и груши были такими сильными, что раздвигали прутья и

прямо лезли в рот. Проснешься, а они висят — только протяни руку.

Она кинула нам с Витяней по большому яблоку, и мы их поймали и стали грызть. Некоторое время лодка медленно крутилась на воде. Надя поменялась с Виктором местами и села на весла.

— Молодец, мать, — одобрил он. — Гребешь классно.

— С детства, — кинула она. — Отец каждое воскресенье брал нас на реку, и мы плыли к этому островку, и рыбачили, и варили уху. А лодка наша называлась «Замарашка». Отец часто приглашал приятелей из депо — он был машинистом, — и мы все пели, а Волик пиликал на скрипачке-четвертушке. Отец сам играл и на гармонии, и на гитаре, и на скрипке, и почти на всех инструментах. А главное, был во всем справедлив: слово с делом у него не расходилось.

— Мать, может быть, хватит мемуаров? — попросил Витяня, и я опять не понял, почему ему неприятно все, связанное с детством Нади.

— Ты прав, — задумчиво произнесла Надя. — Домик детства лежит кучей щебня и кирпичной трухи среди старого сада, и со всем этим покончено.

Подплыв к островку и вытянув нос лодки на песок, мы увидели за кустами рыбака — он только что рванул вверх спиннинг, и в воздухе заметалась, сверкая, рыбешка. Отступив, рыбак опрокинул ведро с уловом. Витяня смотрел на бьющихся в песке рыб, а когда они стали затихать, спросил:

— Стало быть, что?..

— Утонули в воздухе, — сказал я.

— А сами ловите? Или как?

— Промысловую ловлю и охоту понимаю. Тут необходимость. А убийство живых существ — зверей, птиц или рыб, все равно, — ради развлечения, по-моему, отвратительно.

Надя поглядела на меня с неодобрением, но ничего не возразила. Виктор скинул кеды и стянул джинсы, и мы пош-

ли дальше. В последний раз обернувшись на рыбака, который стоял в теплыни под широкополой соломенной шляпой, сладко щурясь на воду, я произнес с горячностью:

— Благодарю. А сейчас рыба проглотит крючок и в муке станет умирать, а он — радоваться жизни, миру и тишине.

Мы расположились под ивой, и Виктор сказал:

— А мать рыбачила.

— Она была девочкой, — ответил я. — Чтобы перенести на себя чужую боль, надо обладать развитым воображением. — Я повернулся к Наде и спросил: — Видели Алсуфьева?

— Да, мы познакомились. Но разговор опять не состоялся. Ему надо было вести дочку к врачу. Он вдовец. Безупречно корректен. К моему появлению отнесся спокойно.

На следующее утро мы опять отправились на лодке, на этот раз вдвоем с Виктором. Надя пошла к Алсуфьеву.

Отплыв от берега, Витяня уступил мне весла и вынул из сумки, где у нас была холодная вода в термосе и кое-какая еда, клеенчатую тетрадь.

— Можно вас спросить? — Большие уши Витяня стали малиновыми. — В одной книжке два студента разговаривают, и один другому читает из Толстого рассуждение после дуэли Пьера Безухова с Долоховым. Вот я выписал. — Он перелистал несколько страничек и прочел: — «Я виноват и должен нести... Что! позор имени, несчастье жизни? Э, все вздор, — подумал он, — и позор имени и честь — все условно, все независимо от меня...» Вам интересно? — поглядел на меня Витяня исподлобья.

— Давай дальше, — я мягко плюмажил веслами, подставляя лицо еще нежаркому солнцу.

Витяня кивнул и продолжал:

— «Людовика XVI казнили за то, говорили они, что он был бесчестен и преступник (пришло Пьеру в голову), и они были правы со своей точки зрения, так же как правы и те,

которые за него умирали мученической смертью и причисляли его к лику святых. Потом Робеспьера казнили за то, что он был деспот. Кто прав, кто виноват? Никто. А жив и живи...» И дальше знаете какой у студентов разговор? Никто? Значит, может быть две правды, три правды?.. Четыре? Вот вы бы как ответили?

— Надо подумать.

— А чего думать-то? Ясно — у вас своя, у матери своя, у меня, должно быть, тоже своя правда.

— Это ты о другом, Витяня, о личном. А Толстой...

— О морали общества? — перебил меня Виктор. — А какая сейчас мораль, когда умные американские дяди хотят бомбой половину людей в мертвяки отправить? А? Чего ж, скажите мне, интеллигентному молодому человеку не прийти старушку в подъезде из-за трешки?

— Опять ты не о том...

Мы плыли вдоль берега. Прошел буксир, нас отнесло в сторону, и лодка наша закачалась возле ржавых старых пароходов. Поблизости был затон. Я бросил грести и сказал:

— Высшая правда, Виктор, если говорить серьезно... там, где интересы большинства. И эта правда одна.

— Ну, так и в книжке студент говорит.

Нас затолкало волной между двух рваных посудин. Вокруг было кладбище речных кораблей.

— А в чем твоя правда? — спросил я Витяню.

— Вы думаете, я ее сын? — кинул он и угрюмо замолк.

Среди высоких рыжих железных остовов лодка наша вздымалась и проваливалась вниз. Тошнотворно пахло гнилью и нефтью. Стучало сердце, и я чувствовал, что меня укачивает.

— Я приемный, — сказал Виктор. — Она меня из детского дома взяла восьмилетним оболтусом. А родители, как говорится, неизвестны. Родная моя мать вроде сразу сдала меня на попечение государства и растворилась...

Вынув весло из уключины, я сильно оттолкнулся от ржа-

вого борта посудины, и тотчас из пустой глазницы затопленного иллюминатора выплыла стайка рыб. Меня сжигал стыд — я обрадовался признанию Виктора.

— А вы что ж, думали, у нее может быть такой взрослый сын?

Мы выплыли из тени накренившегося парохода на свет, сияла река. Я быстро греб, отваливая от корабельного кладбища.

— Ты в каком классе учишься? — спросил я.

— В десятый перешел. Я занимаюсь хорошо, только чтобы ее не огорчать. Она святая. Это запомните. А мемуары про детство и какой был музыкальный папаша ненавижу. И вообще, как понимаете, особых поводов для уважения старших у меня не имеется.

Мы долго молчали. Неожиданно Виктор кинул:

— А вы мне нравитесь... в принципе.

Я почувствовал себя преступником. Мимо проплыли бакены — красный и белый. Сегодня на реке было тихо — только тянулись плоты.

Виктор, глядя на противоположный берег, заинтересовался:

— А что означают вон те полосатые щиты и шары на столбах?

— Перевалынные знаки. А большие и малые шары показывают глубину.

— А ромбы?

— Ширину. Каждый ромб — пятьдесят метров. Это особенно важно там, где перекаты.

Виктор снял рубашку и сменил меня на веслах. Мы повернули к нашему песчаному островку. Сегодня на пляже никого не было. Вытаскивая лодку, мы слышали приближающийся шум — совсем близко появился за ивами и проплыл мимо огромный белый теплоход. Мы легли с Виктором в тени дерева и попили по очереди из термоса холодной воды.

Я закрыл глаза и какое-то время ни о чем не думал и ничего не ощущал, кроме тихого щемящего счастья существования, слияния с нашим островком среди широкой мирной реки. И Витяня притих, возможно, охваченный тем же чувством. Но это мне только казалось.

— Можно еще вас спросить? — донесся его голос.

— Спрашивай.

— Вот говорят: урод, дурак...

— Ну?

— А разве он виноват?

— Кто?

— Глупый от рождения, неспособный... ну дурак?

— Допустим, не виноват.

— Так как ему жить? Куда дураку деваться?

— Должен тебя обрадовать, — улыбнулся я, все еще не открывая глаз. — Иные дураки достигают гораздо большего, чем умники. А главное — не бывает неспособных людей. Каждый в чем-то талантлив: у одного руки умные, у другого извилины, у третьего глаз приметливый, у четвертого... Только не всякий верно понимает себя, свою склонность. А потому озлобляется, нередко завидует, ловчит, во вред себе чужое место в жизни занимает. А общество еще только подходит к этой беде, пытается в ней разобраться.

— Спасибо, — сказал Виктор, и мы вновь затихли.

Сквозь ветви стало припекать солнце, но лень было двинуться, в глазахплыли розовые, зеленые и золотистые круги. Приоткрыв веко, я увидел в дрожащем воздухе вчерашнего рыбака в широкой соломенной шляпе. Он стоял вдалеке, где сливались плес, вода и небо, и опять, благодушествуя, мучил рыб. Я был уверен, что эта мысль пришла в голову и Виктору, и не ошибся.

— А Чехов тоже любил ловить рыбу, — выпрямился Витяня и обхватил руками худые колени.

Я понял, что это протест, несогласие с моими мыслями, высказанными накануне.

— В природе все поедает друг друга, — сказал он, снова ложась на спину и закрывая глаза. — Проходили.

— А как думаешь, почему Надежда Сергеевна тебя усыновила?

— Знаю. Но объяснять не стану.

— Видишь, какой ты. Ничего не хочешь объяснять. А вот учитель твоей матери говорит: даже обезьяны чужих детенышей спасают.

— А правда у каждого своя. Вот я вам, например, ни к чему. Ведь ни к чему?

Ранящая справедливость слов Виктора застала меня врасплох. Я не знал, что ему ответить.

Ночью из столовой команды опять доносились песни — угощали ремонтников.

Когда Виктор лег спать, Надя вышла ко мне на палубу. Мы стояли в темноте, прислушиваясь к затихающим звукам реки и пристаней. Было ясно: мы должны наконец объясниться, но Надя молчала, и я, не видя ее лица, произнес:

— Я вас ни в чем не обвиняю. Но почему вы скрыли от меня, что у вас взрослый сын? Неужели вы могли подумать, что это препятствие для меня?

— Подумала. Но считала разговор преждевременным.

Мы говорили напряженным шепотом в отдалении друг от друга, и это было грустно и смешно, потому что нас никто не мог подслушать.

— И зачем было скрывать, что Виктор не ваш сын, а приемный?

— Он... он сказал вам?..

Из глубины пароходика донеслись переборы гитары, голоса женщин.

— Не уверена, что вы поймете, — прошла Надя мимо меня и села на скамью. — Личная жизнь у меня не сложилась. А хотела ребенка. Но вышло так, что выла не маленького,

а восьмилетнего. Он уже все понимал. И я понимала, что моя ответственность от этого только больше и сложнее: мне предстояло оправдать в его глазах мир взрослых...

— Зачем вы скрыли, что собираетесь замуж за Снежко?

— Я не знала, что решусь... до того дня, как сказала вам. Надеюсь, он будет хорошим отцом Виктору. Но Снежко с первого дня его возненавидел.

— Тогда какого черта он сюда с ним явился?

— Я уже говорила: показать, что раскаивается.

По сходням застучали сапоги. Провожая ремонтников, женщины на нижней палубе пели. Потом все смолкло — и песни, и смех, и голоса. Где-то вдали, за пристанями, сверкнула и некоторое время светилась зарница.

— Если бы не брат, — продолжала Надя, — Снежко вообще меня не нашел бы. У Волика поразительный нюх и, кажется, тоже есть приятели в «Водном транспорте»... Снежко надеялся — он меня уговорит...

Мне показалось, что в темноте она улыбается.

— Что вас так веселит? — спросил я.

— Ваше возмущение... Кстати, несколько запоздалое.

— Вы плохо со мной обращаетесь, Надежда Сергеевна. Честное слово, я этого не заслужил.

— Вы правы, правы, — сказала она примирительно. — Подкинула вам Виктора. Целыми днями пропадаю.

— Вот именно!

— И неизвестно где, да?

— А я часами без толку жду вас... Ну чем, чем вы заняты с этим Алсуфьевым?!

Она ответила серьезно:

— Пытаюсь понять его... победить упорство этого человека. И не только ради Сверблова. Есть какая-то общая... более значительная необходимость... Вы хотите знать подробности?

— Да, хочу! Хочу!

— Нелепая история, — вздохнула Надя. — Не знаю, соз-

пательно ли исчезает из дому Алсуфьев, когда я прихожу, но неизбежно у него оказываются какие-то неотложные дела. На этот раз я опять его не застала — он повез своих сыновей в пионерский лагерь. Меня встретила вся в слезах его старшая дочка Варя. Вижу, что девочка чем-то глубоко расстроена. Спрашиваю, в чем дело и не могу ли помочь. «Там на дереве объявление висит». — «Какое объявление? На каком дереве?» — «Надо торопиться, а у меня денег нет», — лопочет Варя. Ничего не понимаю! Девочка хватает меня за руку и тянет на улицу. «Вон на том дереве». Подхожу и читаю: «Продается старая лошадь. Срочно». Варя смотрит на меня, и ее толстенные щеки дрожат. «Папа уехал, я не успела ему сказать. Прошу вас, тетя, побежимте к лошади». — «Куда, девочка, куда?» — «Здесь написан адрес. Папа вам потом деньги вернет». — «Но ведь не сможем мы с тобой купить... лошади! Куда мы ее денем?» — «Идемте, прошу вас. Я знаю, пионерскому лагерю нужна лошадь. Мы купим и отдадим. Папа сердиться не будет, даю вам слово. Надо только скорей. Это недалеко, в слободке за белыми новыми домами». Я понимаю, что происходит в душе девочки, чего она боится. И мы мчимся с ней через овраг, мимо высотных марсианских домов, и у меня, у тридцатилетней дуры, тоже подкашиваются от волнения ноги. Какие-то тревожные мысли лезут в голову. Связанные с Виктором, с детством, с постоянно мучающим меня чувством ответственности за судьбу брата Волика, сознанием, что я его упустила и жизнь его понеслась от меня куда-то в сторону. Наконец находим дом и хозяев лошади. Старые люди, муж и жена. Старик стоит посреди двора и молча показывает на опустевшую покосившуюся конюшню. «Продали?!» — вскрикивает Варя. Хозяин качает головой, глядит в землю. Ветер кружит вокруг нас сухое сено. Я все понимаю: лошадь отравили на бойню. Но Варя не верит, не хочет верить, что мы опоздали.

...Когда возвратились, Алсуфьев ждал их уже возле ка-

литки и был взволнован. Ничего не сказав отцу, Варя прошла в дом. Пришлось Наде рассказать их грустную эпопею.

— Спасибо. Большое вам спасибо... за Вареньку, — сказал Алсуфьев и стал, прихрамывая, подниматься на веранду. Его левая нога была обута в ортопедический ботинок. Угадывая, что Надя смотрит ему вслед, Алсуфьев кинул, не оборачиваясь: — Нет, не на войне. Нет, не на войне. Свалился в канаву с велосипеда... в далеком отрочестве. — Входя в сени, он пригнул голову и произнес глухо: — Мучительно люблю своих детей...

Он провел Надю в столовую, которая более походила на гимнастический зал: посредине стоял стол, накрытый суровой полотняной скатертью, но справа от окна поднималась шведская стенка, а слева была укреплена на стойках велосипедная рама с рулем, сиденьем и передачей.

— А теперь вот на этой штучке ежедневно мчусь в неведомые дали... по настоянию врачей. — Алсуфьев сложил в стопку разбросанные по столу ученические тетради, сказал: — Будем пить чай, не возражаете?

— Не возражаю. Вы преподаете в школе?

Он не ответил, пошел в кухню. Его не было довольно долго.

Надя разглядывала на стене фотографии детей и покойной жены хозяина. В клетке, подвешенной к переплету окна, прыгала канарейка. На антресолях, куда вела узкая лесенка с перилами, кто-то дышал — видимо, собака. Алсуфьев вернулся с чайником, из носика которого шел пар, и бросил:

— Да, кандидат биологических наук, а преподаю в школе... так сложилась жизнь. Вы явились меня разоблачать и уничтожать, не ошибаюсь? — Он заваривал чай, расставлял чашки. — Так начинайте, начинайте.

— Давайте пить чай, — предложила Надя. — Вы знаете, я родилась на соседней улице и помню ваш дом с детства.

— Это не мой дом. Я его купил, когда перебрался сюда из столицы. Но я знал вашего отца... — Алсуфьев вникся

глазами в лицо Нади, спросил резко: — Что вам от меня нужно?

— Чтобы вы себя опровергли.

— Всего-то! — Его тонкое худое лицо передернулось.

— Я не верю, что вы разгромили Сверблова по убеждению.

— Я защищал себя. Вам покрепче? Свою жизнь. Свое понимание человека. — Алсуфьев перехватил пристальный близорукий взгляд Нади и засмеялся. — А вы умеете гневаться.

— Умею, — бросила Надя. — Сверблов мой учитель. Я вам уже говорила.

— Да? Ну, хорошо. А что руководило вами, когда вы отправились с Варенькой спасать старую лошадь? Генетический альтруизм или чувство сострадания, воспитанное вашими родителями?

Он обернулся и увидел в дверях Варю. Она тихо спросила:

— Можно мне побыть с тетей?

— У нас серьезный разговор, детка. Тебе будет не интересно.

— Тогда я покатаюсь, — заявила девочка, забираясь на велосипедное сиденье. — Можно?

— Конечно, конечно.

— Меня уже нет. — Варя вертела педалями все быстрее и быстрее. — Я уехала от вас.

— Думаю, мы оба понимаем, — сказала Надя, — наследственность и влияние среды нельзя противопоставлять, этика и генетика сложно переплетены в нас, и Сверблов выделяет природный альтруизм и говорит о «добром» человеке лишь с целью поколебать привычное ужасное убеждение, что люди эгоистичны, агрессивны и подлы от природы, а потому и мир подл от века и обречен на конечную гибель.

— Знаете, в чем слабое место вашего учителя? — спросил Алсуфьев.

— Я знаю, в чем его сильные стороны, — ответила Надя.

— Надежда Сергеевна, дети у вас есть?

— Странный вопрос, Петр Григорьевич. Да, есть. Приемный сын.

В окне плыл запах увядающих флоксов, ранней прели. Алсуфьев некоторое время молча разглядывал Надю. Потом произнес, улыбувшись:

— И что же, вы взяли мальчика на воспитание по велению генетического набора? Или просто потому, что ваш достойный отец и ваша мать научили вас состраданию и добру?

— Приехала! Приехала! — Варенька соскочила с седла и выбежала в сад.

— Лукавите, Петр Григорьевич, — подошла Надя к окну. — Все прекрасно понимаете и лукавите.

— Трудно говорить на отвлеченные темы... с красивой женщиной, — окинул Алсуфьев враждебным взглядом Надю. — фигуру в узком платье.

Она вернулась к столу, села, вынула из сумки, перекинутой через плечо, машинописную рукопись и сказала:

— Прошу вас ознакомиться с результатами наших дополнительных наблюдений и статистическим материалом. — Она хотела быть с противником до конца вежливой и благожелательной. — Здесь всего пятнадцать страничек. Посмотрите сейчас или...

Бегом влетела Варенька с ворохом цветов и положила их на колени Нади. Та хотела удержать и поцеловать девочку, но она вырвалась и опять уселась на велосипед.

— Я поехала дальше.

— Слабое место вашего учителя в том, — продолжал Алсуфьев, — что он употребляет такие сомнительные выражения, как «этический генофонд». Получается, что условный ген А, определяющий будто бы альтруизм или общий ген преступности у однояйцевых близнецов, или лишняя хромосома врожденной агрессивности, или наследственная подагра и, простите меня, избыток мочевой кислоты

в крови... формирует личность, жизненный путь... саму историю.

— Ну зачем такие передержки, Петр Григорьевич? — глянула на Алсуфьева Надя из-за вороха цветов. В ее глазах сверкали опасные молнии. — Убедительно прошу вас полистать мои странички.

Однако Алсуфьев не стал листать странички, а сложил их вчетверо и засунул под стойку ученических тетрадей.

— Благодарю вас, — насмешливо произнесла Надя. — Поняла. Но учтите, я привыкла все доводить до конца.

— Угроза? — Он посмотрел на нее с затаенной печалью.

— Предупреждение, — ответила Надя.

Алсуфьев наклонил узкую седеющую голову, сказал:

— Очень хорошо. Раздражительность и злобность могут быть болезнью. Были властители, больные подагрой. Из подагрической старухи могла получиться злая теща или Екатерина Медичи. Все зависит от условий. В шестнадцатом веке во Франции правила Медичи, в Англии царствовал Генрих VIII, в Испании Филипп II, в Священной Римской империи Карл V, в России Иван IV. Опричина, инквизиция, Варфоломеевская ночь... Вы не скажете, почему в шестнадцатом веке на тронах скопилось так много генетических дефектов и подагр, которые проявились в кровавых делах?

— Почему ты так нехорошо разговариваешь с тетей? — неожиданно услышал Алсуфьев голос Вареньки. — Как будто она ничего не понимает.

Алсуфьев поглядел внимательно на расстроенное личико девочки, заставил себя сдержаться, улыбнулся.

— А ты понимаешь все, велосипедистка?

— А вот уеду совсем далеко, тогда узнаешь, — и она пригнулась к рулю и налегла на педали. — Далеко, далеко, далеко!..

Некоторое время Алсуфьев и Надя молча следили за ногами подростка, изо всех сил крутящими педали.

— Да, странно, — произнес неопределенно Алсуфьев. — Все странно в этой жизни... Вы с нами пообедаете?

— Нет, спасибо. Разумеется, нет, Петр Григорьевич.

— Жаль.

Надя прочла в его глазах искреннее огорчение, и это удивило ее.

— Я приду завтра. Надеюсь, вы мой материал прочтете?

— Конечно. А может быть, все же...

— Нет.

— Обязательно приходите, тетя, — крикнула ей Варенька.

— До свидания, девочка.

— Мы будем вас ждать, — произнес Алсуфьев осевшим голосом.

Прихрамывая, он проводил ее до калитки, повторил:

— Будем ждать — и Варенька, и я.

Выражение лица Алсуфьева смутило Надю. И тем не менее на следующее утро она опять явилась. Он был один. Варя ушла к подруге.

— Я ждал вас, — сказал Петр Григорьевич и церемонно поцеловал Надину руку.

— Что это означает? — спросила Надя. — Капитуляция?

— В известном смысле... в известном смысле...

— Прочли?

— Да, конечно.

— Я вас убедила?

— Нет. Но это не имеет значения. Я много о вас думал... как о человеке, женщине...

С антресолей, припадая на одну лапу, боком спустилась большая толстая собака, обнюхала Надино платье, лизнула руку и легла у ее ног.

— Капитуляция... в этом смысле... — Прислонившись к шведской стенке, Алсуфьев глядел на собаку. — Вы несомненно благородны и добры, но, к сожалению, защищаете человека, который этого недостойн.

— Сверблов в моей защите не нуждается. Скажу более, если бы он узнал, что я...

— Что вы требуете от меня, опровержений?..

— Да...

— Понимаю.— Алсуфьев протянул Наде ее сложенные вчетверо странички.— Спасибо. Прочел с интересом. Прошу вас, сядьте.— Они опустились на стулья друг против друга. Алсуфьев сказал:— А не возникает все же... в итоге... мысль, что для изменения общества необходимо «перевернуть человеческую природу», а не преобразовать социальные условия?

— Нет, не возникает,— кинула Надя.— И вы сами это знаете!

— Гнев вам чрезвычайно к лицу, Надежда Сергеевна.— Он наклонился, погладил собаку.— На нас сердятся, Кара.— Затем положил ладони на стол и спросил:— Чего вы от меня, в сущности, требуете?

— Приходится повторяться, Петр Григорьевич,— бросила Надя.— Вы умный человек и отлично понимаете: Сверблов вовсе не сводит все дело к генетике, не отрицает значения воспитания и среды, в особенности в современных условиях существования людей, а лишь стремится подчеркнуть, что мы наследуем от наших биологических предков не только агрессивную способность к выживанию, но и взаимовыручку, самоотверженность, во имя спасения детей. Все это, мне кажется, вам известно, и спорите вы со Свербловым неправомерно, играя на привычных, но нереальных, надуманных противопоставлениях. Во имя чего?

Она ждала ответа. Алсуфьев глядел на нее с какой-то странной нежностью и надеждой и молчал.

— Чтобы оправдать свои заблуждения? — кинула Надя.— Или... «я подл, потому, что подл изначально мир»?

— Вы переступаете порог дозволенного, Надежда Сергеевна,— тихо, с грустью произнес Алсуфьев.— Вы обвиняете... не зная меня и моей жизни. Это жестоко.

— Я настаиваю, чтобы вы публично признали свою

пристрастность и передержки письмом в академию, статьей... если вас это больше устраивает. — Снова в ее глазах блеснули молнии. — Я надеюсь, я уверена — вы напишете правду, Петр Григорьевич.

— Да, вы можете меня заставить, — покорно наклонил голову Алсуфьев. — Вы приобрели надо мной власть, Надежда Сергеевна.

— То есть? — кинула Надя. — Что вы хотите этим сказать?

Он не ответил. Она встала.

— Душно здесь...

— Выйдем в сад, — предложил Алсуфьев.

В саду под кустом отцветшей сирени Алсуфьев произнес:

— Я с ужасом думаю, что вы больше никогда сюда не приедете... что вы исчезнете из моей жизни навсегда...

— Петр Григорьевич! — тихо воскликнула Надя. — О чем вы?!

— Да, понимаю, понимаю, — махнул рукой Алсуфьев. — Все это нелепо... и все же, все же скажу... Мне пятьдесят лет, у меня трое детей, надежд никаких, а я вас... полюбил... Ничего не отвечайте, прошу вас...

Надя была ошеломлена, глядела на него растерянно. Он продолжал:

— Все глупо и смешно!.. Дурацкая, пустая мечта о матери для моих детей... как вы... Я на все готов для вас, но опровергать себя не стану.

В саду стало сыро, зашумел дождь в кустах над их головами. Алсуфьев говорил глухо, страстно, Надя его не прерывала.

— Со Свербловым мы вместе учились, но он вряд ли это помнит. И так даже лучше. Конечно, он не догадывается, какой такой Алсуфьев смеет из своего захолустья оспаривать его доводы и теории, будоражить, мучить сомнениями. А я смею!.. У меня родились дети от нелюбимой женщины, которая вскоре умерла... Я жил только ради своих детей. И бежал сюда, в глушь, чтобы не чувствовать постоянно себя

обойденным, — здесь я первый. И парадокс в том, что меня любят дети — и свои, и чужие... Любят!..

Под дождем пробежала по дорожке Варенька и скрылась в доме. Где-то вдали бесшумно полыхнула молния, осветила Надино побелевшее, мокрое от дождя лицо.

— Я знаю, я кажусь вам чудовищем, — прошептал Алсуфьев, и его губы задрожали.

С неба сыпался мелкий дождь. Алсуфьев взглянул в лицо Нади, увидел в ее глазах сострадание и рассмеялся.

— Вот теперь вы и не знаете — напел я вам все, нагнал или сказал правду. Ведь не знаете?

— От вас пахнет вином, Петр Григорьевич, — отстранилась от него Надя.

— Это все, что вы поняли? — Он поднялся, уперся седеющей головой в мокрые ветви, крикнул: — Уходите! — И, прихрамывая, быстро пошел к дому.

Надя стояла среди сада, который помнила с детства. Здесь они играли с Воликом и вечно их разыскивал отец. Ее охватило щемящее чувство утраты и одиночества, боли за людей. Она прошла к калитке мимо распахнутых окон столовой. Бешено крутя педали, Алсуфьев мчался на неподвижном велосипеде, а Варенька, цепляясь руками, как обезьянка, ползала и прыгала по шведской стенке.

— Почему ты прогнал тетю? — задыхаясь спрашивала она. — Почему?

— Таковы странные подробности моего последнего посещения Алсуфьева, — произнесла Надя, глядя на меня из темноты.

Ветер доносил запахи ночной реки, где-то вдали плыли огни — буксир тянул караван барж. Я тихо спросил:

— Ну, и чего же вы добились?

— Пока немногого... нелепой исповеди.

— Надо отсюда бежать, Надежда Сергеевна.

— Да, конечно... но я не могу. И не сердитесь на меня за это. Я должна остаться.

— Цель? Цель?!

— Я должна остаться,— повторила Надя,— и довести дело до конца. Поставила себе за правило не быть чистюлей и не отступать перед тягостной сложностью людей, с которыми меня сталкивает судьба.

— Ничего вы больше от вашего Алсуфьева не добьетесь.

— Должна добиться.

— Надя, это бессмысленное упрямство.

— Нет, нет, поверьте мне. Он напишет правду. Я знаю.

— Это, наконец, эгоизм.— Я был искренне возмущен.— Вы думаете только о себе.

— О себе?! — воскликнула Надя.

— О Сверблове? Пусть о Сверблове. Это еще обидней.— Я взял ее за плечи и повернул лицом к бегущему свету. Мимо, стуча мотором, буксир тянул баржи.— Вы знаете — я не могу без вас... не могу без вас жить... И оставаться тут не могу. Послезавтра в Москве решается судьба моего будущего фильма. Я должен быть на коллегии. Иначе все может рухнуть.

— Я понимаю,— сказала Надя.— Конечно, вам нельзя оставаться. Я это прекрасно понимаю.

С реки несло нефтью. Тянулись баржи. Шум буксира удалялся. Внизу о борт шлепались волны.

— Я рада, что вы молчите,— сказала Надя,— и не уверяете, что на все готовы ради меня. У каждого из нас своя жизнь. И оба мы к ней, мне кажется, относимся серьезно.

— Вы не женщина! — воскликнул я.— Вы... вы!..

— Несомненно,— согласилась Надя и прошептала:— Дорогой вы мой... все-то вам известно!..

Я опустил на пол палубы и уткнулся лицом в ее холодные сжатые колени.

— Не сердитесь... Я уже купила вам билет на самолет,— донесся голос Нади.— Он лежит на столике в вашей каюте.

Деньги я взяла у Волика. Когда-нибудь ему отдадите. У каждого из нас свои недостатки. У меня — дурацкое патологическое чувство ответственности.

— Я люблю вас, люблю, — шептал я, обхватив руками ее ноги. — Но моя жизнь и судьба вас не интересуют.

— Не перебивайте меня, — едва слышно произнесла Надя. — Мы с Витяней доберемся домой на этом пароходике, мальчишке нужно отдохнуть перед школой. Я знаю, он к вам привязался и откровенен. Но вам... он действительно не нужен. Да, да, не возражайте. Не нужен. Вы слишком поглощены своими замыслами, сосредоточены на себе. И вы опасны Витяне. Он в том возрасте, когда ищут однозначных ясных ответов на мучительные вопросы. — Она наклонилась, взяла мою руку и поцеловала ее, как тогда ночью, на Пресне. — Я буду чувствовать себя очень паршиво... без вас. Но у нас нет будущего, поверьте мне. И улетайте, пожалуйста. Может быть, позже... когда-нибудь... мы сумеем обсудить все более трезво.



Прощаясь на следующее утро с Надей и Виктором, я презирал себя за то, что был оживлен и почти радовался вновь обретенной свободе. Надя была спокойна. Виктор помог мне донести сумку до автобуса, и я его обнял. Уже в самолете оживление сменилось тревогой, острым чувством вины. Печаль и отчаяние окончательно обрушились на меня, когда я вернулся в свое московское одиночество, пахнущее нагретыми солнцем, пожелтевшими газетами, которыми, уезжая, я накрыл мебель. Листки рукописи, забытые на поседевшем от пыли телевизоре, покоробились. Тоска сжала мне сердце. Все окружающее было ненужным прошлым, и поэтому я даже не очень огорчился, когда вдруг зазвонил телефон, и голос житейской реальности, голос техника-смотрителя ДЭЗа сказал, что я приехал, слава богу, вовремя — будет капитальный ремонт, и все жильцы переселяются временно в Чертаново, Теплый Стан и Матвеевскую. Это

меня не устраивало, и я ответил, что, наверно, сниму себе комнату где-нибудь поблизости. Техник-смотритель тут же сообщил мне несколько адресов — оказывается, не я один решил не удаляться от привычных мест. Так, в течение одного утра потеряв единственную любимую женщину и кров над головой, я отправился искать себе временное пристанище.

В больших современных домах ничего подходящего не нашел — меня опередили, и к вечеру я оказался в одном из маленьких переулков, недалеко от старой кирпичной обсерватории.

Мне следовало войти в покрашенный розовой краской особнячок — тот самый, возле которого я увидел Надю за стеной ливня. Здесь, на первом этаже, сдавалась комната.

Усилием воли я заставил себя постучать в дверь, обитую войлоком. Мне отворила большая грустная женщина с черными волосами, расчесанными на прямой пробор. На ней было длинное серое суконное платье. Она зажгла в передней желтую лампочку, и я увидел ее доброе восковое лицо.

— Вы насчет комнаты? — спросила женщина тихим высоким голосом.

Я вступил в потерянный мир, полный утраченных запахов. В квартире пахло подгнившими паркетными, пачулей и керосином, но было чисто. И мне показалось на мгновение, что я вернулся домой, что в этой старой квартире или похожей на нее я жил когда-то с моей жизнерадостной несчастливой мамой, участковым врачом, и ходил отсюда к старушкам во двор обсерватории убирать снег: как Надю в Реченске, меня вдруг настигло детство.

— У нее керосинка, и она всегда забывает подкрутить фитиль, — беззлобно пожаловалась женщина, показав на закопченную дверь возле телефона. — Здесь живет прабабушка Риты, нашей племянницы. — Женщина провела меня по длинному коридору и в конце его откинула тяжелый занавес. — Входите.

Я вошел. Тут пахло клеем. На столе лежали деревянные туловища и головы кукол и были разбросаны яркие тряпочки и какие-то инструменты.

— Я работаю дома...

— Куклы? — спросил я.

— Да, для театра.

В углу у низкого окна сидел в потертом высоком кресле человек с профилем и прической Гоголя. Лицо у него было виноватое. Он поклонился мне.

— Николай Аполлонович, художник. Он относит наши куклы режиссеру. А я — Августа Викторовна, — сказала женщина.

Она взяла с полки, уставленной портретами в маленьких сафьяновых рамках, ключ.

— Комната, которая сдается, рядом...

Мы вернулись в коридор, и Августа Викторовна отперла соседнюю дверь, и мы вошли: на трельяже стоял проигрыватель, заваленный потрепанными журналами, а на тахте пылились пластинки и были разбросаны книги, по преимуществу английские, в глянцевых ярких обложках.

— Рита от нас переехала.

Августа Викторовна показала на незаконченный портрет маслом, прислоненный к стене. Снизу на меня глянуло зелеными глазами странное маленькое лицо без волос — они еще не были написаны, а лишь намечены белой краской.

— Это она. Почему-то все художники хотят ее писать. А ведь вовсе не красавица, верно?

— Не знаю, — отозвался я. — Такое впечатление, что ей снесли череп... Сколько мне придется платить в месяц?

— Сколько сможете, — смущенно произнесла Августа Викторовна.

— Так нельзя, — сказал я.

— Тогда... посидите, пожалуйста... я позову сестру...

И я остался один среди вещей незнакомой мне молодой женщины. Выглянул в окно и увидел за деревьями кирпичную башню старой обсерватории, и мне захотелось отсюда бежать. Я понял, что эта башня будет мне напоминать о рано умершей маме, и о Наде, и о том отлетевшем весеннем дне, когда мы были с ней счастливы в домике ученых старушек сознанием внезапного, глубокого единения.

Августа Викторовна возвратилась в сопровождении сестры — маленькой тучной морщинистой женщины с папирской в зубах. Одета она почему-то была в засаленную матросскую тельняшку и похожа на греческого пирата.

— Это вы? — оглядела меня дама-пират, уперев руку тыльной стороной в бедро и жуя папирску.

— Раздумал, — пробормотал я и оглянулся на Августу Викторовну, остановившуюся в дверях. Только теперь я заметил, что на груди ее висит лорнет. Она поднесла его к большим печальным глазами и вздохнула.

— Жаль. А вы нам понравились. И был бы хоть один мужчина в доме.

— А в чем дело? — шепелявя, спросила дама-пират.

— Из этого окна... видна башня обсерватории, — ответил я, краснея.

— Не нравится вид? — Дама-пират поманила меня к себе. — Есть еще одна комната. Идемте.

Мы опять вышли в полутемный коридор, и Августа Викторовна указала на запертую дверь.

— Зинаида может перебраться сюда, а вы...

Сестры ввели меня в тесно заставленное бедной старинной мебелью, закуренное жилище дамы-пирата.

— Отсюда никакой обсерватории не увидите. — Зинаида перебросила языком погасшую папирску в угол беззубого рта. — А вы, случайно, не псих?

Я рассмеялся.

На овальном столе, накрытом темно-вишневой бархатной

скатертью с кистями и засыпанной пеплом, был разложен пасьянс. А может быть, гадание?

— Играете,— спросила меня дама в тельняшке, она же Зинаида Викторовна,— в карты?

— Ну, как вам сказать?

— В коммерческие или в железку?

— Если откровенно — терпеть не могу карт.

Зинаида Викторовна накинула на тельняшку пиджак и безнадежно махнула рукой.

— Мужчина!.. — И произнесла уже деловым тоном: — Комната большая. Всю дрянь вынесем. Платить будете 30 рублей в месяц.

— А вы азартная, да? — спросил я неожиданно для самого себя даму-пирата.

— Знаете, где я пристрастилась к игре? В гареме. — Она забормотала что-то, шепелявя.

— В каком гареме?

— Зинаида! — тихо воскликнула Августа Викторовна. — Ради бога!..

— А что такого? — Зинаида высунула кончик языка с бородавкой. — Да, я была похищена. Курите?

— Нет.

— А-а-а, мужчина!.. Мы жили до революции на Кавказе. Шестнадцать лет мне было, когда умыкнули и продали в Персию, в гарем.

— Честное слово? — удивился я.

— Но в меня влюбился персидский офицер. И я с ним бежала в Баку. А потом за мной приехала Августа и выкупила: офицер уступил меня за двести рублей.

Шея Августы Викторовны стала малиновой.

— Наш гость может подумать, — в отчаянии произнесла она, — что мы какие-то авантюристки и нам по сто лет!

Мне вдруг захотелось остаться в этом потерянном мире, и я громко и несколько невпопад заявил:

— Согласен! Плата меня устраивает.

Через два дня, изнуренный хозяйственными хлопотами, я окончательно перебрался в розовый домик с утраченными памятью запахами. Сестры помогли мне устроиться. С собой я захватил только одежду, рукописи, пишущую машинку и карманный диктофон. Я решил записать на пленку фантастические рассказы Зинаиды.

Однажды утром я услышал крик и, выбежав в коридор, увидел вдали прабабушку Риты. Она стояла в почерневшей от копоти длинной рубаше в дверях своей комнаты, из которой валил дым. Сестер дома, видимо, не было. Я кинулся в вонючую мглу и погасил керосинку. Открыть окно мне не удалось, и я отворил дверь, а прабабушку, укутав в старое пальто, усадил на стул возле телефона. Так мы познакомились.

На следующий день я пошел звонить и, набирая номер, услышал в комнате прабабушки голоса. Старуха, кашляя и задыхаясь, рассказывала пришедшей навестить ее племяннице, тоже особе совсем дряхлой:

— А помнишь, Катя, как он меня любил... Андрей... Как схватит, обнимет и целует, целует — задохнешься. А ночью и прибьет другой раз в постелях...

Постепенно я узнал историю прабабушки и окончательно понял, что в этой квартире прежде, в детстве, никогда не жил. В давние времена весь дом с фруктовым садом принадлежал генералу, мужу старухи. Рыжий статный Андрей был его кучером, но возил больше барыню. Подсаживая в коляску, он смотрел на нее горячим диким глазом. Она его тайно поощряла, и он стал ее любовником. Есть с нею вместе Андрей не смел, обедал с горничными и кухаркой на кухне, а ночью, между ласками, стегал генеральшу в кровати, обзывая дурными словами, — был яростен, жесток, ревнив и неутолим. Возмущенные Августа и Зинаида, в ту пору еще девочки, уехали из дома к дяде на Кавказ. Генерал умер. А генеральша, обезумев совсем, все терпела, видя искренний пыл Андрея и его любовь. Из деревни жена кучера

слала барыне письма, благодаря за то, что та приблизила к себе ее Андрея и подарки деткам отправляет. После революции генеральша голодала. Андрей поступил дворником в иностранное посольство и теперь приносил постаревшей бывшей возлюбленной суп и кашу в судках, а иногда и сахар. Приехала из деревни и жена Андрея и тоже баловала старуху чем могла и ходила за ней. Однажды бабушку соседи прокатали на легковой машине, поскольку уже много лет у нее не было сил выйти за ворота. Новая Москва произвела на старуху огромное впечатление, и она всем об этом говорила.

Эта история восходила, как выразился бы мой недавний лукавый сотрапезник на пароходе, к вопросу о том, что есть человек в превратностях бытия и судьбы. А это, в свою очередь, неожиданно и странно сплелось с моим новым замыслом и с Надей. Прабабушке было около ста лет. Впервые я жил в соседстве с глубокой старостью. И однажды в полудреме мне почему-то привиделось, что мы с Надей тоже старенькие и давно муж и жена и живем на пустынной окраине Москвы в «Доме привидений», как называют жестокие остроумцы обитель ветеранов кино. Это элегантное здание, напоминающее современный отель, населено печально-счастливыми жителями, добрыми врачами, тихими медсестрами и расторопными кокетливыми жрицами еды. Дом стоит на ветру среди оврагов и пустырей, окруженный символами жизни, смерти и власти: слева, через дорогу, высится белый блочный приют для престарелых, справа — отсвечивающий стеклом и цветным кафелем многоэтажный родильный дом, а в глубине, за старым глухим деревянным забором — территория бывшей филевской дачи; слева смерть, справа рождение, за забором — отлетевшая эпоха. И посредине — осень искусства. Наша осень, закат жизни. К подъезду «Дома привидений» возносят меня и Надю асфальтовые пандусы — сразу на уровень второго этажа. Потом нас поднимает вверх глубокий лифт: в него однажды должны войти носилки или

гроб. Нас обступает уютная призрачная жизнь дома, в которую навсегда приехали старые актрисы, пишущие мемуары и говорящие громкими голосами, старые режиссеры и операторы. Здесь вместе с ними мы должны закончить круг жизни, среди привезенных из дому любимых книг, картин и фотографий, любимых настольных ламп и скатерок и хлебниц. В тишине этажей за одинаковыми пронумерованными дверями живут островки прошлого: жилища-бонбоньерки с кокетливыми подушечками, цветными фонариками и мягкими большими кошками и собаками из материи, а рядом с этими цитатами из эпохи нэпа — комнаты-аскеты с современными стенками и стереомагнитофонами. А вечерами в синих и красных салонах с пушистыми коврами-картинами зажигаются маниакальные огни цветных телевизоров и обитатели дома тонут в полумраке мягких диванов и кресел, и перед ними бегут тени жизни, перемешивая кровавую драму далеких стран с толкотней на хоккейных полях, выкриками эстрадных див и невероятностью человеческих открытий. В большинстве своем жители дома счастливы среди этих теней и своих воспоминаний, счастливы свободой от житейских забот и возможностью в меру своих сил трудиться. Но я страшусь спуститься вниз, в коридор, освещенный редкими уютно-жутковатыми коричневыми светильниками...

Пришла зима и засыпала переулочки и наш двор пушистым изобильным снегом. Ночью под редкими газосветными фонарями сугробы казались грудami пенопласта. Сестра-пират поздно ложилась спать. Высунув кончик языка с бородавкой, раскладывала гадание и пасьянсы. В жаркой глухой тишине, нарушаемой лишь какими-то тресками и шорохами, Зинаида превращалась из вещуньи в мою Шахерезаду. Мы пили с ней чай, и она мне рассказывала, смаля дрянные папироски, именуемые гвоздиками, о своей жизни и старом Баку...

Из глиняной сухой пыли выползала полуголая окровавленная толпа, раскачиваясь, тянулась из старого города, совершая самоистязание цепями и кинжалами: Шахсей-Вахсей, Шахсей-Вахсей. Кочи — наемные убийцы и телохранители, прилично одетые, в котелках — смотрели на это зрелище спокойно. Это были уважаемые профессионалы. Конторы кочи располагались рядом с красивыми домами нефтяных владельцев на Набережной. Зинаида, наученная горьким опытом, наняла двух здоровенных кочи, вооруженных до зубов маузерами, ножами и бомбами-лимонками, чтобы они охраняли сокровища ее шальной красоты. У них были глаза дремлющих зверей. Они знали, в Зинаиду влюбился отчаянный человек — предводитель кочи с Солдатского базара. А эти, с базара, были самыми страшными головорезами и враждовали с уголовной элитой Набережной. Случались перестрелки. Мирные мусульмане, иудеи и христиане в страхе тогда запирали ставни и молились своим богам. Полиция в сражения не вмешивалась. Но по пятницам кочи не воевали. В этот день они устраивали на Набережной бега — мчались в лакированных фаэтонах, запряженных бешеными лошадьми, и правили не кучера, а сами кочи. Нефтявладельцы выходили на балконы или высовывались из своих домов и контор и ставили на фаворитов — азарт был отчаянный. Пропахший керосином зеленый Каспий, корабли и фелюги у пристаней, праздничная толпа, треск проносящихся экипажей... И эта картина дикого богатства, кровавого фанатизма и власти оружия странно сплеталась во мне с судом над современной мировой алчностью, с проблемой природного и социального человека.

И опять Зинаида вспоминала с гордостью, как ее похитили и продали в персидский гарем: «Шестнадцать лет мне было, однако вся власть в моих руках, а не у старшей жены».

Шахрезада снова превращалась в вещунью, и принималась раскладывать гадание на Риту, племянницу, и карта шла черная.

Как-то я поздно вернулся домой, отворила мне Зинаида, и в темном коридоре я услышал из-за двери музыку — «Голубую рапсодию» Гершвина на потрескивающей старой пластинке.

— Рита вернулась, — шепелявя, драматически сообщила мне дама-пират и подтолкнула к двери моей комнаты.

Из-за занавеса высунулась Августа Викторовна с распущенными волосами и торопливо сказала: «Покойной ночи, дорогой, покойной ночи».

По каким-то причинам сестры явно не хотели меня посвящать в подробности семейных событий.

Гершвина за стеной сменили битлы, а затем Бах и его «Токката». Я делал выписки для своего «Трибунала» под сумрачно-беспокойный гул органа. «Если считать, что человек начинается с австралопитека, и «положить» историю человечества на метровую линейку, то она займет около одного сантиметра. Немудрено, что на этой короткой дистанции мы не смогли выполнить сократовский завет о самопознании...» Все время я наталкиваюсь на мысли, связанные с Надей, и все сильнее ощущаю, что мы, разлученные взаимным непониманием, давно уже живем в таинственной духовной близости, и это что-то поворачивает в моем замысле.

«Доктрина изначальной сопричастности человека ко злу, — продолжаю я выписывать, — его природной греховности, как это ни печально, представляет собою обобщение практики человечества. В середине текущего столетия подсчитано, что в течение предшествующих 3421 года... войны продолжались 3153 года, а мирное существование народов всего 268 лет. Если вновь «положить» это на метровую линейку, то на мир придется неполных 8 сантиметров. Все остальное — боль, страдание, слезы и кровь людей».

«Ужасные цифры! Но они должны быть произнесены в моем «Трибунале». Да, только отвергнув «борьбу всех против всех» как единственную реальность жизни, можно положить конец взаимоуничтожению мыслящих существ. Снова

где-то за стеной звучит музыка. В мире и сейчас идут необъявленные войны, и люди в ожесточении погружаются в ад стадной нетерпимости и шовинизма. Я хочу показать в своем фильме, что человек способен опровергнуть самого себя, свою природу, бросить вызов безумию эгоизма».

Поздно ночью я очнулся от крика. «Не смей, не смей!..» — стонала женщина. «Шлюха! — кричал мужчина. — Сейчас же одевайся — и марш в машину!» — «Я тебя ненавижу! Можешь убить меня! Не вернусь». Донесся грохот опрокинутого стула, шепот сестер и крик: «Помогите!» В этой семье, видно, всех женщины поколачивали возлюбленные властелины. Крик повторился: «Ты такая же дрянь, как мой папочка! Ну, бей, бей!..»

Я накинул куртку и бросился к двери, но в этот момент кто-то повернул ключ с обратной стороны.

— Эй, дамы, откройте сейчас же! — Я был уверен, что меня заперла сестра-пират.

Через некоторое время в коридоре слышались тяжелые мужские шаги и чьи-то рыдания и шепот: «Уходите, ради бога!»

Кто-то рванул парадную дверь, и тотчас опять задышали, загремели органные голоса в комнате Риты, а возле моей двери зашептались сестры.

Я представил себе молящихся в холодном высоком храме и Баха, играющего на органе, и мне стало смешно и жутко от мысли о величии ничтожных страстей человеческих. Я подошел к окну, меня полоснули фары сорвавшейся с места машины, и полетела на меня белая вселенная, плепаясь крупными талыми снежинками о стекло.

Утром моя дверь все еще была заперта, и мне пришлось дико стучать. Наконец кто-то повернул ключ, и я потянул на себя ручку. Передо мной стояла молодая женщина в купальном халате с разорванным рукавом, зеленые глаза ее глядели на меня спокойно и чуть насмешливо.

— И что же вы обо мне подумали? — Женщина вошла в

комнату. — Я Рита, племянница Августы и Зинаиды. — У нее было вытянутое ввысь гибкое и неустойчивое тело, с широкими бедрами и высокой шеей. Волосы были на месте и свободно лежали на плечах.

— Я слушал музыку Иоганна Себастьяна Баха и думал о молящихся в храме.

— Ну уж! — кинула она. — Вѣ же наверняка все слышали. Знаете, мои тетки боятся показаться вам на глаза. И в ужасе от ночного представления.

— На Зинаиду Викторовну непохоже, — заметил я.

— Она успела вам все о себе рассказать?

— Кое-что.

— Считаете, в персидских гаремах случались скандалы похуже?

Рита глядела на холмы снега за окном.

— У вас есть деньги? — спросила она неожиданно.

— В известных пределах, конечно...

— Пригласите меня позавтракать... где-нибудь в городе. — Она повернулась ко мне лицом, с которого была смыта вся косметика. — Я не навязываюсь. Просто очень паршиво на душе, а тетки вас считают отзывчивым, порядочным человеком.

— Я должен работать.

— Ну, что ж, — она улыбнулась вполне миролюбиво. — Мешать я вам не стану. Единственно, что я обязана сделать... заверить вас, ради теток, что вовсе не шлюха...

Целый день я работал, а потом незаметно выскользнул на улицу — мне не хотелось углубляться в семейные дела обитательниц розового домика. В последующие двое суток я рано уезжал на студию монтировать уже отобранную для фильма хронику и поздно возвращался. В воскресенье решил повестить наконец Ольгу Петровну и Веру Николаевну, хранительниц времени. День был ясный, светило солнце.

Я вышел во двор и остановился, прислушиваясь к щебету птиц. Вероятно, это были синицы. Кто-то взял меня под руку.

— Тетки опять в полном отчаянии, — сказала Рита. — Куда вы исчезли?

На ней была косая косматая шапка, прядки лисьего меха падали на глаза. Она подставляла лицо солнечным лучам, и ее подкрашенные зеленью веки дрожали.

— Я вам не мешаю сейчас? — спросила она. И сама ответила: — Вижу: мешаю. Так хоть Августу и Зинаиду пожалейте.

Я ничего не ответил.

— Ну ладно, — плотней запахнула шубку Рита. — Торопитесь, что ли? Я вас провожу до метро.

Я понял: сама судьба не дает мне нанести визит Ольге Петровне и Вере Николаевне и на сегодня избавляет от горечи воспоминаний, связанных с Надей.

— Давайте погуляем, если хотите, — сказал я, — по нашим переулочкам. Я их люблю.

— А я ненавижу.

Мы вышли за ворота, пересекли улочку и стали прохаживаться по пустырю, заваленному снегом.

— Розовый домик ненавижу, — тихо произнесла Рита. — Свою жизнь. Этот тип, приятель моего отца, оказался таким ничтожеством — алчным, подозрительным. Слава богу, у меня хватило ума не выйти за него замуж. Но иногда мне кажется, я свихнусь от моих старух, воспоминаний о гареме, от кукол тети Августы и ее друга с лицом Гоголя и покрытой копотью прабабушки... которая всех нас переживет. А вам эти старухи нравятся. Я все про вас знаю.

Я поглядел сбоку на ее маленькое лицо и спросил:

— Почему же вы вернулись сюда, а не к отцу?

— Запутались в наших семейных тайнах? — усмехнулась Рита. — Отец женился на моей подруге. Он старше ее почти в три раза. Я с ним порвала. Вернее, он порвал с нами.

К сестрам, ну к теткам моим, тоже не ходит. А мама с горя... умерла. Она была в нашей семейке единственным настоящим человеком... Понимаете, все осточертело, милый сосед.— И вдруг ни с того ни с сего она столкнула меня в сугроб.

Я поднялся, отряхнулся, а Рита как ни в чем не бывало взяла меня опять под руку.

— Я его презираю, хотя он талантливый человек. А впрочем, такая же дрянь и карьерист, как мой возлюбленный.— И она снова столкнула меня в снег.

Я с удивлением посмотрел на нее, ничего не сказав, обмахнулся шапкой и предложил ей руку. Мы шли молча. Внезапно с каким-то ожесточением Рита еще раз спихнула меня в снежную кучу.

Не глядя на свою спутницу, я снова отряхнулся, вытер рукавом лицо и сам взял ее под руку. Мы двинулись в обратную сторону, и я столкнул Риту в сугроб — три раза подряд. Она ничего не сказала, только озадаченно как-то посмотрела на меня. Ресницы, брови и волосы ее были заплетены снежинками, и сквозь них глядели остановившиеся зеленые глаза настороженного зверька.

Мы вернулись домой, а к вечеру у Риты начался жар. Ночью температура поднялась почти до сорока. В полдень пришел врач и сказал, что у нее двустороннее воспаление легких. Она бредила. Тетки были в отчаянии. Они не знали, что во всем виноват я. Августа звонила отцу Риты, но он не приехал.

Я ходил за лекарствами и кислородной подушкой и молча часами сидел у изголовья Риты. Сестры считали меня удивительным человеком. Курить свои ужасные папироски Зинаида уходила в свою комнату и там раскладывала гадающие — карта шла черная. Через неделю Рите стало легче, и она попросила меня поставить «Голубую рапсодию».

Я протер запыхавшуюся пластинку и включил проигрыватель. Потом отошел к окну и заставил себя посмотреть

на башню обсерватории, накрытую сбитой набок шапкой тающего снега. В комнате пахло лекарствами. Меня охватило отчаяние, и я почему-то вспомнил, как однажды сказал Наде, что она не змея, а уж, купивший яду в ближайшей аптеке. А мой презент — настоящий уж?.. Почему я не узнал о его судьбе? Дурацкие мысли приходят человеку под ликующую музыку Гершвина, когда ясно, что все потеряно и сам во всем виноват.

— О чем вы думаете? — Рита лежала, закрытая до шеи одеялом. — Не молчите, пожалуйста. Только не молчите!..

— Ты бросил в мир поступок, и как от камня, кинутого в воду, пойдут круги, так и от твоего поступка потекут последствия, и неизвестно, как далеко они утекуют...

— Да, да, — прикрыла Рита серыми веками свои огромные измученные глаза, — все на ниточке!.. Здоровье, надежды. Все непрочно, ненадежно... Как зеленые, синие и красные огоньки внутри машины или самолета... В любой момент что-то обрывается, и все гаснет — и ты во тьме, во власти всех бед — мороза, урагана, снега, боли... смерти... Вся жизнь на волоске!

— А древние утверждали: судьба — это характер, — попытался я вернуть ей бодрость.

— Конечно, — отозвалась она. — А если не везет? В пятом классе я решила украсить собой школьный артистический мир, но в драмкружок меня не приняли — была ростом на голову выше всех мальчишек. Потом, когда стала постарше, каждое лето ездила рабочим в поисковые партии и на раскопки — хотела быть археологом, но университет пролетел — недобрала баллов. Работала лаборанткой в институте, дворником в нашем доме, чтобы не считаться тунеядцем...

Я развеселился:

— Это нас сближает. Я тоже был дворником, правда, в более нежном возрасте.

— А думаете, я не снималась в кино? — усмехнулась Рита. — Один раз, правда. В меня влюбился старый режис-

сер — он понял, что я совершенно бездарна только к концу картины. — Она умолкла и протянула руку, пошевелив длинными тонкими пальцами, и я ей подал стакан воды и розовую таблетку антибиотика. Она проглотила ее и простонала: — Неужели я никогда отсюда не вырвусь?!..

Поправляясь, Рита рассказывала странные истории, и все они как-то были связаны с ее убеждением, что в жизни все случайно и все зависит от удачи или невезения.

— Учился со мной в школе умный мальчик Борик. Поступил на искусствоведческий. Не успел окончить, как его вытребовал дядя в Западный Берлин. Решил оставить Борiku в наследство свою фирму. Дядя был богатый маршан, торговец картинами, комиссионер. Поехали они с дядей по Европе покупать картины. Где-то в Голландии, кажется, Борик присмотрел средихлама небольшое полотно. Говорит дяде: купите, это Рембрандт. Дядя рассердился. Тогда Борик сам купил картину и представил ее через некоторое время международному жюри для определения подлинности. Члены жюри посмотрели, удивились, сделали анализы и признали — Рембрандт. Борик среди маршанов стал легендой. Поехали они с дядей в Париж, и опять Борик на каком-то аукционе говорит дяде: купите, это Рембрандт. Дядя купил. Оказалось — действительно Рембрандт. Борик разбогател, поехал в Латинскую Америку, влюбился в какую-то донью. Она его отвергла и еще посмеялась над бедным Бориком, московским мальчиком. И мальчик от отчаяния бросился под поезд метро. Вы в этом видите логику?.. Хотя какую-нибудь?

Я ничего не ответил. Она отвернулась к стене, произнесла слабым голосом:

— Дайте мне кислородную подушку. Мне нечем дышать.

...Скоро Рита окончательно поправилась, и в ее комнате теперь пахло не лекарствами, а духами. Почти каждый вечер Риту навещали приятельницы и приятели. Гершвин и Бах были забыты — звучали на всю квартиру, шокируя Августу и пугая прабабушку, голоса современных менестрелей. Рита неизменно звала меня, но я появлялся вечерами у нее очень редко. Иногда из ее комнаты доносились стихи — в Риту влюблен шумный, навязчивый и нетрезвый поэт и молодой художник, написавший ее портрет без лба и волос. С ним я познакомился на кухне, где он пил воду из-под крана. Разумеется, он тут же стал мне читать стихи, отбивая размер кулаком...

Как-то днем Рита заглянула в дверь и сказала, что хочет меня познакомить со своим школьным товарищем. Он приехал из Сибири в командировку и совершенно не напоминал обычных гостей моей соседки. Это был спокойный, мощного сложения седеющий крепыш в хорошем костюме и белой рубашке. У него были умные глаза, твердый рот, и глядел он на Риту с нежной мужской доброжелательностью.

— Как ни говорите, — улыбаясь, открывал он ровные сильные зубы, — пять лет просидели на одной парте, бескорыстно обмениваясь шпаргалками. Вот зову ее к нам. Просто тяжело видеть, как девка среди московских подонков пропадает. А возможности у нас есть — и научим, и работу интересную дадим.

— Разведись с женой, тогда другой разговор, — смеялась Рита. — Детей брось.

— Да зачем я тебе! Слава аллаху, чего у нас не было и быть не может, так это романа. А помочь разумно перестроить твою жизнь — могу.

— А знаете кто это? — радостно глядела Рита на школьного товарища. — Василий Васильевич Кузовлев, царь и бог и большой начальник в Сибири. Однако... математику у меня списывал.

— До восьмого класса. Святая правда. — Он вытянул

шею, сощурился и, посмотрев на меня и Риту, вдруг простовато спросил: — У вас что... любовь?

Я не успел и рта раскрыть, как Рита ответила убежденно, но без всякого душевного подъема:

— Будет любовь.

— Ну тогда я тебя не сманю в Сибирь. — Школьный друг поднялся и стал прощаться: — Давай поцелую тебя, шаргалка.

Вечером уже в постели я с волнением читал свежий номер журнала, в котором была опубликована статья Алсуфьева. Он признавал в ней, что в отношении Сверблова был тенденциозен, исключительно и несправедливо критиковал оппонента. Надя своего добилась. И я решил, отбросив все обиды и чувство стыда, немедленно ей позвонить.

И в эту минуту отворилась дверь и вошла Рита в накинутом на плечи халате с оторванным рукавом. Ее болотные глаза глядели на меня с вызовом. Я заслонился журналом от света настольной лампы. Но Рита просто ее потушила и в темноте почему-то расхохоталась. Однако ее решительность и веселье не принесли нам обоим радости: она мне была совершенно не нужна.

На рассвете кто-то опять дико стучал, и я пошел в переднюю открывать. На пороге покачивался пьяный молодой поэт.

— «Литературку» читал? — воскликнул он, наваливаясь на меня. — Видел, что они со мной сделали?! Но... но это мимо!

В глубине коридора мелькнула Рита. С ревнивой подозрительностью поэт ложно оценил ситуацию и прохрипел:

— Пусти меня на кухню и дай бумаги. Я ей напишу... твоей...

— Уходи! — крикнул я. — По-хорошему.

Поэт скривился, и я заметил, что одну руку он не вынимает из кармана.

— Убирайся!

— Вот только напишу... и все!— усмехнулся он и пошел на кухню.— Бумажка у меня у самого найдется.

Я вернулся к себе и быстро оделся, даже галстук повязал.

Затем опять вышел в коридор и заглянул к Рите. Она лежала на тахте, накрывшись халатом, и смотрела на меня с ненавистью. И тут появился на пороге поэт и надорванным голосом крикнул: «Убью, Риточка!» Я сильно толкнул его в грудь, и он вылетел в дверь, и мы общими усилиями выставили поэта на лестницу. Он плакал там пьяными слезами и повторял, что все равно прийдет Риту, меня и критика из «Литературки».

Потом мы втроем пили чай в комнате у Зинаиды. Августа не вышла. Хлебница и чашка стояли на осыпанном пеплом еще с вечера разложенном гадании. Весь мир мне был отравителен.

— Захотела дура стишков! — зло жаловалась Рита.— Поэзии!.. Дерьмо! Жизнь дерьмо! — кричала она истерически.

Зинаида перекидывала языком с бородавкой изжеванную папироску с одного угла рта на другой, что свидетельствовало о крайнем волнении и нахлынувших воспоминаниях. Рита рыдала.

В тот же день я справился, как обстоят дела с ремонтом моей квартиры, и выяснил, что могу возвратиться,— велись уже работы на лестничных маршах. Последнее меня не смущало, и в тот же день, простившись с Августой, Зинаидой и прабабушкой, я перебрался домой. Сестры были огорчены и даже всплакнули, прабабушка, стоя на пороге своей задымленной комнатухи, почему-то радостно махала

мне своими высохшими руками, видимо, не понимая происходящего. Рита уехала с компанией за город, и я был этому рад. Но через несколько дней она внезапно явилась ко мне домой ослепительно нарядная, стала передо мной на колени и произнесла:

— Женись на мне. Умоляю тебя. Я дрянь. Я погибну. Я погладил ее по голове, хотел поднять с пола.

— Умоляю тебя, — повторяла она. — Умоляю! — И вдруг рассмеялась, легко встала и спросила: — А ты хоть посмотрел на себя в зеркало? Этот идиот наградил тебя здоровенным синячком. — И быстро вышла, исчезнув навсегда из моей жизни.

Так я, во всяком случае, решил в ту минуту.

Я снова работал над «Трибуналом», а в мире шли необъявленные войны, и ожесточенные люди убивали друг друга, и я мысленно говорил об этом с Надей.

Я не смел ей напомнить о своем существовании и был удивлен, когда однажды позвонил Виктор и сказал, что должен меня увидеть.

Явился он в тот же день и, заметив еще в передней оплывший синяк на моей щеке, хмыкнул. Но расспрашивать не стал, а молча показал на свой разбитый нос. Было ясно, что мы оба пострадали в жизненной борьбе, и это Виктора развеселило.

Я провел его в комнату, где книги и папки с рукописями все еще не были водворены на место и лежали на стульях и даже на полу.

— Пришел с вами посоветоваться, — сказал Виктор, — можно?

— Конечно, — кивнул я. — Рад тебя видеть. Ты изменился, можно сказать, похорошел, возмужал, а нос...

— Я по поводу носа... как раз... Записался в группу бокса. У нас при доме спортивный клуб... и все такое. Ну,

тренера мне выделили — длинный, белобрысый, мне, наверное, ровесник, а может, и моложе. Показал мне, как работать с грушей, с мешком... некоторые приемы продемонстрировал... Ринг у нас не в зале, а рядом с детской площадкой, в садике. На днях явился я на тренировку, и белобрысый мне говорит: «Одевай сегодня бойцовые перчатки, приучайся». Одел. И он тоже. А время обеденное — в садике и на площадке ни души. Поставил меня в стойку, стал показывать удар левой и как защищаться от него и так далее — учит. И вдруг глаза у него становятся рыжими какими-то, зрачки неподвижными, губа отвисает, и бьет он меня зверски прямо в лицо. Ну, кровь, вся майка в крови. А он стоит, смотрит на меня не мигая, губу облизывает — интересно ему. И тут я даю ему под дых со всей силой, и он падает. А кругом никого. Он лежит на песке. Я кровинку утираю. Наконец, гляжу, поднимается белобрысый. И мы молча, не глянув, расходимся в разные стороны — он в клуб, я к себе домой — и прямо в перчатках под ледяной душой... — Виктор осторожно вбирает в разбитый нос воздух и говорит: — Так как, считаете, заниматься мне дальше боксом или...

— А почему ты меня об этом спрашиваешь?

— Есть причина. Я закурю, можно?

— И давно начал?

— В эту весну. Когда все решил. — Вынув из пачки сигарету, он помял ее в зубах и сунул обратно. — Ладно, не буду. Вам неприятно.

— Так что же ты решил?

— В армию пойду. А учиться... после поглядим... чему и где учиться.

— А мать? О ней ты подумал?

— А вы?

— Не понимаю тебя.

— Все одно с другим связано. Ведь могут взять меня в пехоту или в десантники. А это штык, нож, ближний бой. Война-то в конечном счете... что? Убийство. Понимаю, убий-

ство врага. А чтобы убивать — не только сноровка нужна, а еще, чтобы шерсть поднялась. Или не так? Что означает стих: «Есть упоение в бою»? О целях войны не говорим — здесь нам обоим все ясно. А вот как быть с боксом... и с этим белобрысым с желтыми глазами? Закаляться?

— Подбрасываешь ты мне задачки!

— Ведь решали их... для себя? — И вдруг Виктор вспомнил: — Мы же ваш кинофильм видели — «Цезарь и его посетители».

— Ну и как? — поинтересовался я.

— Не знаю, — помедлив, произнес Виктор. — Случай редкий — московского парня вызывает за границу неизвестный дед... А мать сказала: умная картина. Ей понравилось.

Я обрадовался и не мог этого скрыть от Виктора.

— Конечно, картина не о боксе, — сказал я, — и не о войне, но, втягиваясь в события, в борьбу, парень взрослеет и вынужден взвалить на свои плечи ответственность, быть сильным — у него нет другого достойного выхода.

— Верно, — согласился Виктор. — Об этом не подумал. А мать, наверное, поняла. — Он поглядел мне в лицо с доверием, по-взрослому озабоченно. — Хочу освободить мать от себя... хоть на время: армия — это все-таки два года. — Осторожно ступая между книг, он прошел к двери, как-то неуклюже обернулся и спросил: — Вы женитесь на матери, когда я уйду в армию?

В который раз ставил он меня в тупик, упрощая все до глупости сути. Я грустно пошутил:

— Она теперь на мне не женится. Я потерял ее.

В эту ночь я видел во сне свой фильм о Цезаре. Парнем, приехавшим из Москвы, был почему-то не актер — я сам... с лицом Виктора... Я увидел свое отражение в витрине кондитерской на Монмартре в Париже... А ведь в картине все начиналось в маленьком безымянном городке... Я спускался

по широкой бесконечной лестнице. Позади остался белый храм Сакре-Кёр. Когда-то он должен был спасти французов от войны и был освящен. Покинув Холм Мучеников, то есть Монмартр, я миновал площадь Пигаль и стал искать среди секшопов и грязноватых бистро, где пили лимонад проститутки и бабушки с детьми, заведение Цезаря. Все это мне приснилось вначале, вероятно, потому, что именно здесь, на бульваре Клиши, я обнаружил два года назад его кафе и узнал подлинную историю Цезаря... Я вошел в кафе и вместо актрисы, играющей грустную миловидную помощницу Цезаря, увидел Надю. Она сказала мне, что отведет меня к хозяину, когда закончит представление с марионетками. Ее лицо было настороженным. Я осмотрелся. Посетители заведения, не слушая друг друга и глядя куда-то в полутьму, делились разочарованиями и надеждами, маленькими радостями и горем. Это были пожилые люди, неудачники и мечтатели и одинокие женщины. Иногда они начинали хохотать: стоя на возвышении, Цезарь дергал шнурки, отчего марионетки выше человеческого роста принимались плясать, драться и рыдать. Надя подошла к нему и что-то шепнула. Он поглядел в мою сторону и сказал посетителям кафе, что представление закончено и заведение закрывается... Огни померкли, и марионетки повисли на шнурках. Надя отвела меня наверх, где в глубине мансарды, полной какого-то хлама, тряпок, опилок и красок, сидел в полосатом лагерном балахоне старый Цезарь... Я был Витяней и ничего не понимал. Старик со слезами на глазах уверял меня, что я его внук, что с моей бабушкой он познакомился в лагере смерти, что они вместе бежали, но жизнь их развела. Он называл меня Виктором, предупреждал, что я должен сделать жизненный выбор... И тут прошла мимо нас Августа Викторовна, неся на руках марионетку с лицом Риты — таким, как на картине в комнате розового домика. Старик шептал, что я его единственный наследник и мне он завещает все свои деньги, это заведение

и свою борьбу. Потом он достал из стола черные пакеты и рассыпал передо мною фотографии. «Вот они, эти люди, которые хотят нас снова отправить в лагеря смерти...» Послышался скрип автомобильных тормозов — к дому на противоположной стороне улицы подъехала машина. Надя быстро подошла к фотоаппарату на треноге, скрытому между шторами, и щелкнула затвором. Старик прошептал: «Если мир узнает, кто входит в этот дом и кто выходит...» Старик и Надя повели меня вниз, и Цезарь, показывая на марионеток, сказал: «Снимки наиболее важных особ я спрятал в стружках... в туловищах кукол». Он ткнул пальцем в одну из них, марионетка повернулась, и я опять увидел маску Риты без лба и волос. Я все время сознавал, что это мне снится, я смотрел свой фильм. «Теперь ты все знаешь, — говорил мне Цезарь, — и должен бросить вызов!» Но у меня была своя жизнь, совсем иная — мне в армию надо было идти. Как старик этого не понимает?.. Цезарь слушал меня, все более погружаясь в горестное отчаяние, и Надя смотрела мне в лицо с немым упреком... Старик снял с рогатой вешалки плащ, надел его прямо на полосатый балахон и вышел на улицу. «Теперь он будет бродить полночи, — сказала Надя. — У тебя нет сердца». Мы сели в темноте за столик, и я спросил, кого они со стариком выслеживают тут и снимают. «Неужели ты ничего не понял? — тихо воскликнула она. — Это же касается всех людей... угрожает всем... В дом напротив приходят доверенные лица бафкиров, военных, политиков и передают деньги, добровольные пожертвования для поддержки наемников, террористов и убийц. И это не бред старика, а ужасная правда: фотографии все это подтверждают...» Во сне большая волосатая рука сжала мне сердце — я задышался... Раздался стук в дверь. «Кто там?» — спросила Надя. — «Сосед из дома напротив». — «Что вам угодно?» И я услышал: «Мы хотели бы получить ваши фотографии. Вам что-нибудь о них известно?» — «Ничего». — «В таком случае откройте, мы их найдем сами». — «Нет. Хозяин ушел

и не велел никого впускать». — «Жаль». И шаги удалились. На всякий случай мы забаррикадировали дверь столами. «Где телефон?» — спросил я. «Наверху». Мы поднялись наверх, я снял трубку и не услышал гудка. Я постучал по рычажку — телефон молчал. Я передал трубку Наде. Она повертела диск, послушала. И вдруг телефон зазвонил, и вежливый мужской голос произнес: «Теперь связь односторонняя. Мы вам будем звонить по мере надобности, а вы ни с кем связаться не сможете. Говорит сосед из дома напротив. Что вы решили насчет фотографий?» — «У нас никаких ваших фотографий нет», — сказала Надя. Человек на той стороне провода произнес: «Ну, тогда посмотрите в окно, но трубку не кладите». Я отдернул штору и увидел в проеме балконной двери дома на противоположной стороне улицы связанного старого Цезаря. Двое, оставшихся в тени, держали его за рукава полосатого балахона... Волосатая рука сжала мое сердце больней... Голос в трубке спросил: «Что вы нам скажете теперь? У вас наш семейный альбом или нет? Неужели вы нас принудите мучить старого человека и вообще заниматься гнусностями? По-моему, это бесчеловечно. Тем более из-за каких-то фотографий». И в эту минуту до меня донесся через пустую улицу крик Цезаря: «Не отдавайте!»

Его схватили за плечи и опрокинули в темноту проема. А голос в трубке произнес: «Мы понимаем, вам нужно подумать. Скоро мы снова вам позвоним». И раздались короткие гудки. Меня душили бессилие и ярость. И вдруг вместо Нади я увидел перед собой марионетку с лицом Риты. Марионетка сказала: «Ты дерьмо. Бери деньги старика и уходи. И отдай им снимки». Я оттолкнул куклу, и она бесшумно упала на пол, и из нее посыпались опилки и фотографии. Озираясь, я поймал свое отражение в освещающем жестью овале зеркала: на меня глядел не актер и не Витяня — я сам. «Что же нам делать?» — прошептал я, прижимая к груди Надю. — Я люблю тебя. Я сделаю все, что ты скажешь». — «Ты обя-

зан решить сам», — ответила она. И я понял, что должен взвалить на плечи грозный мир опасности, крови и смерти. Опять зазвонил телефон. «Вы ничего не решили? — спросил голос в трубке. — Мы так и думали. Мы договорились с господином Цезарем. В двенадцать вам придется открыть кафе, потому что начнут собираться посетители. Сегодня воскресенье: в этот день хозяин дает представление днем. Мы придем с хозяином, и он нам отдаст фотографии. Вот и все». Эти негодяи из дома напротив сами подсказали, какое нам принять решение. У старика все снимки были пронумерованы и сопровождаемы описаниями. Фотографии мы оставили на месте — там, где они были припрятаны. Я взял только негативы, перечень фамилий и даты съемки. После этого мы спустились вниз, и Надя мне показала деревянную раму в стене позади марионеток. Я отодрал раму и обнаружил за нею окно, выходящее на железнодорожную эстакаду. Был соблазн тотчас выпрыгнуть, но это было рискованно, и я не мог исчезнуть, не повидав Цезаря. Все переменялось — он для меня был теперь не помешанным, а героем. Все решено: я скроюсь, когда начнется представление. У нас осталось время, и мы с Надей стояли и шептались друг другу какие-то клятвы, и она сказала, что мы должны бежать вместе... В двенадцать мы разобрали баррикаду у двери, расставили и накрыли столы, и Надя впустила первых посетителей. Трое из дома напротив заняли столик в глубине зала. Появившись на пороге, Цезарь весело приветствовал завсегдатаев. Надя приняла у него плащ, и все захлопали, увидев хозяина в лагерном балахоне. Трое за столиком тоже похлопали. Завсегдатаи решили — представление началось. Надя разносила кофе и напитки. Я стоял позади марионеток, ожидая в трюке Цезаря. Он подошел, и, пока поправлял маленькие прожекторы, я, стоя за ширмой, все ему сказал и простился с ним. Он поднялся на возвышение, закинул на плечо ремень сверкающего аккордеона и заиграл. По лицу его текли слезы, а глаза блестели — он торжествовал. Вспыхнули прожектора,

и задержались марионетки, и все увидели, что они тоже в полосатых балахонах, как у Цезаря. Трое из дома напротив встали. Выбрасывая вперед матерчатые руки, куклы отплясывали чечетку, а Цезарь пел, рассказывая о посетителях дома напротив, решивших снова нарядить всех в полосатые балахоны. И тут я проснулся и вспомнил конец своего фильма...

Из круга вальсирующих кукол-убийц выходит юноша-марионетка и протягивает вперед в притихший зал руку с красным цветком. Раздается звук выстрела, но юноша не падает. Треск автоматной очереди. Юноша с красным цветком стоит. Грохот взрыва. Юноша с цветком улыбается.

У меня ломит сердце, я глотаю какую-то таблетку и запиваю ее теплым боржомом прямо из бутылки.

Конечно, я мог Наде позвонить, не мучить себя, попытаться что-то исправить, но меня убивало сознание вины, неясный смутный стыд — розовый домик меня доконал. Я ненавидел телефон — дьявольское изобретение Александра Грейама Белла — и заталкивал его поглубже в ящик стола.

Днем я ездил по библиотекам и различным учреждениям, собирая материал для «Трибунала». Пересмотрел километры пленки в Белых Столбах и Красногорском фотокиноархиве.

Мой новый фильм будет триптихом из трех картин. Первая — история подготовки трибунала, новеллы о его организаторах. Вторая — история обвиняемых и обстоятельств, связанных с созданием американской атомной бомбы, положившей начало ядерному шантажу. Третья — следствие и заседания трибунала, показания свидетелей, допросы и приговор: здесь сойдутся все сюжетные, философские и политические линии фильма. Действие достигнет кульминации.

Наибольшую трудность для меня представляет вторая часть, вторая картина. Но для нее у себя в старых бумагах

я нашел весьма полезную запись. Вот она: «Получил сегодня по почте из своего творческого союза большой конверт, а вскрыв его, обнаружил внутри полоску папиросной бумаги, на которой напечатано под копирку, что меня приглашают на встречу с известным американским физиком Сцилардом и что встреча эта состоится в малой гостиной сегодня в семь вечера».

Я решил отменить все дела и отправился.

...Крепко сбита официантка в белой крахмальной наколке и коротком переднике с решительной торопливостью расставляла на столе вазы для фруктов, кофейные чашки, покрикивая на свою помощницу: «Не спи, Катерина! Неси мандарины. Птифуры не забудь». Катерина убегала и вскоре опять появлялась, и официантки продолжали свои шумные усилия по сервировке стола.

Я поднял голову и увидел в дверях несколько смущенного Лео Сциларда и его жену. Писатель, которому предстояло сегодня председательствовать, пошел гостям навстречу и стал усаживать их за стол. Сцилард с розовым лицом и редкими седыми волосами, ниспадающими на воротник помятого пиджака, выглядел более чем скромно. Черноволосая жена ученого с птичьим носом, придававшим ее лицу хищное выражение, казалась чем-то раздраженной.

— Товарищи, — обратился к собравшимся председатель, — для меня большая честь представить вам...

Он вынужден был остановиться, потому что официантки продолжали высыпать из пакетов в вазы никому не нужные сейчас мандарины. А когда я попытался жестами и выразительным кивком в сторону гостей унять профессиональный пыл девушек в наколках, они не то что оскорбились, но просто полностью пренебрегли моими деликатными намеками и стали греметь посудой еще решительней. Знаменитый физик, оценив ситуацию, беззлобно улыбался.

Я припомнил все, что мне было о нем известно.

Когда-то наш гость обнаружил вторичные нейтроны

при делении ядер урана и предсказал возможность цепной реакции. Он был также участником сооружения первого ядерного реактора. В 1939 году, опасаясь, что немцы могут рассчитать и сделать атомную бомбу, эмигрант из Венгрии Сцилард уговорил Альберта Эйнштейна подписать письмо президенту Рузвельту о необходимости в предупредительных целях начать разработку атомного оружия. Письмо было передано президенту через его сотрудника Александра Сакса. Оно не возымело действия. Есть версия, что Сцилард с Эйнштейном вторично обратились к президенту, на этот раз через его друга и помощника Гопкинса. Так или иначе, но наконец возник так называемый «Манхэттенский проект», и началась ядерная эпопея в пустыне Лос-Аламос.

Еще до испытания бомбы, когда стало ясно, что война идет к концу и Советская Армия гонит немцев на запад, а японцы не располагают материальными ресурсами для создания атомного оружия, Эйнштейн снова обратился с письмом к Рузвельту, к которому был приложен обстоятельный меморандум Сциларда. В этом письме и меморандуме ученые заклинали президента прекратить все работы по атомной бомбе, поскольку ее чудовищная разрушительная мощь способна привести лишь к гонке вооружений, а в случае возникновения ядерной войны вообще погубить человеческую цивилизацию. Как рассказывает Роберт Юнг, письмо Эйнштейна было передано в Белый дом, но не дошло до президента — 12 апреля 1945 года Рузвельт умер. Письмо вскрыл Трумен... и бросил бомбу на Хиросиму и Нагасаки. Сцилард был потрясен этим и впоследствии стал одним из видных членов Пагоушского сообщества ученых, борцов за мир.

Именно в этом качестве он и появился в Москве. Естественно, мы ожидали, что наш гость расскажет нам о событиях, связанных с созданием и использованием первых американских бомб. Но он заявил:

— Теперь я занимаюсь биологией. Как всякий ученый,

я стремлюсь к разгадке тайны жизни и сущности человека. А на эти великие вопросы ответить может только биология. Сегодня я вам расскажу о корреспонденции генов, о проблемах, которыми сейчас занят.

Мы были разочарованы. Когда Сцилард закончил свое сообщение, одна из пожилых литературных дам задала вопрос:

— Скажите, господин Сцилард, какой вклад в борьбу материализма с идеализмом вносят ваши биологические открытия?

Наш гость сделал вид, что не понял, о чем речь, и ничего не ответил. Дама повторила свой вопрос. И опять гость пропустил его мимо ушей, весело пошептавшись о чем-то с черноволосой женой. Но дама не успокоилась и обратилась к Сциларду в третий раз. Председатель наш сказал:

— Я думаю, мы избавим нашего гостя от столь грузного вопроса.

Но тут Сцилард засмеялся и произнес:

— Если даму этот вопрос так занимает, ничего не поделаешь — скажу, как я понимаю борьбу идеализма и материализма. Когда ты ребенок и воспитан в определенной среде и тебя водят в церковь, ты легко принимаешь идею бога. Делаясь старше и вступая в жизненную борьбу, где бог тебе ничем помочь не может, став инженером, деловым человеком или, не приведи господь, ученым, ты утрачиваешь связи со всевышним. Но, когда начинаешь стареть и чувствуешь, что скоро тебе придется расстаться с земной жизнью, идея бога вновь возвращается к тебе. Вот как я понимаю борьбу идеализма с материализмом.

Мы оценили иронический ответ гостя по достоинству и похлопали ему...

Вспомнив в подробностях тот вечер, я понял, что драма Сциларда и он сам должны найти место во второй части «Трибунала».

Да, все вокруг меня так или иначе занимались тайнами

жизни и сущностью человека — будущие персонажи, и Сверблов, и Надя. Наша реальная связь с Надей становилась все призрачней, отодвигалась все дальше в прошлое, а духовная близость крепла. Это было странно, грустно и непреодолимо — во всяком случае для меня.

И поэтому я решил встретиться со Свербловым. Он назначил мне свидание в клубе, в той самой гостиной с камином на втором этаже, где когда-то я познакомился со Сцилардом. Оказывается, сегодня здесь, в большом зале, Сверблов намеревался исполнить свои сонаты.

Он был в белой рубашке и темном костюме, из которого выпирало его мощное тело, был взволнован, немногословен, но, как всегда, громогласен. Потрясая львиной головой, спрашивал:

— Почему ты вдруг объявился? Ты же малоинтеллигентный человек и музыкой не интересуешься!

— Я интересуюсь тобой. Как твои дела? Прочел статью Алсуфьева. Ты доволен?

— Как тебе сказать... Это все учинила Надежда. Великая женщина! — Он громко захохотал. И тотчас утих. — Ваш роман... не состоялся?

— Откуда ты знаешь?

— Чую.

— Надежда Сергеевна по-прежнему... твоя помощница?

— Нет. С этим безобразием покончено. Она заслуживает лучшей участи.

— Ты ее видишь?

— А тебе какое дело?

Под грубоватой откровенностью я почувствовал его нежелание продолжать этот разговор.

— И чем же ты сейчас больше занят? — спросил я. — Музыкой или...

— Снежко зовет меня работать в Международный институт человека. Ответа пока не дал. Думаю. Компания собирается благородная. И цели добрые.

— А я решил предать суду мировую алчность.

Сверблов уставился на меня с недоумением.

— Сочиняю и буду ставить политическую драму «Трибунал». Изобразю процесс над главными разбойниками мира, которые хотят лишить нас жизни. Не могу думать ни о чем другом.

Сверблов тряхнул львиной головой и с нежностью произнес:

— Оказывается, ты серьезный человек. Никогда не подумал бы. — И торопясь добавил: — Извини, извини. Но я ведь твоих опусов не видел.

Вбежала замученная клубными хлопотами администратора и с профессиональной бодростью заторопила Сверблова:

— Вам пора наверх, профессор. Начинаем.

В зале оказалось мало знакомых. Публика была пришлая, случайная. Преобладали старушки и нечесаные девицы в джинсах.

Тяжелой косолапой походкой Сверблов взомел по ступенькам на эстраду и зычно бросил в зал:

— Вступительного слова, на ваше счастье, не будет. Представляюсь сам. Я профессор Сверблов, генетик. Буду играть свою музыку.

Раздались аплодисменты. Он сел к роялю, долго, шумно вздыхая, устраивался на маленьком вертящемся стульчике. Ослепленный светом, в последний раз поглядел на публику и пробурчал:

— Соната «Размышление».

Играл он замечательно. Когда кончил, слушатели долго сидели притихшие. Потом затрепали аплодисменты.

Сверблов махнул тяжелой рукой и опять ворчливо кинул:

— Соната «Созерцание».

За моей спиной мужской голос произнес:

— Не интересно. Пойдем.

Я обернулся и увидел парня в свитере с красивым грубым лицом в ослинках и рядом с ним Риту. Она покрасила волосы, плохо выглядела и, кажется, решила меня не узнавать.

— Как хочешь, — сказала она парню.

— Посидим лучше в баре, — бросил он, поднимаясь.

Следом за ними поплелся молодой поэт, тот самый, что собирался однажды на рассвете прикончить Риту. Вероятно, он и привел сюда ее и парня в свитере.

После концерта, выйдя со Свербловым на улицу, я опять увидел эту тройцу. Парень распахнул перед Ритой дверцу «мерседеса», и она, помахав рукой понуро стоявшему на тротуаре поэту, забралась в машину, ее спутник с красивым грубым лицом сел за руль. Когда вспыхнули фары и автомобиль мягко тронулся, над его мощным бампером я заметил дипломатический номер.

Сверблов молчал — огромный, с непокрытой головой и увлажненными глазами, счастливый успехом у старушек и патлатых девиц. Он отрешенно покачивался на теплом ветру, полный еще своей мощной, страстной музыкой.

— Послушай, — сказал я ему, — а что, если я приглашу тебя композитором на новый фильм?

Он посмотрел на меня снисходительно и сказал:

— Я ученый, а не аранжировщик. У меня нет времени сочинять для кино. И зачем тебе я? Все равно Надежда не окажется в нашей компании.

Однажды мне позвонил Волик, брат Нади, и сказал, что если у меня есть деньги, то он был бы не прочь получить с меня давний долг, и если я никуда не уйду, то он сейчас же подъедет к моему дому. В сущности, мы не были знакомы, а главное, я совершенно забыл, что Надя на его деньги купила мне билет на самолет. Я спустился в садик перед домом и приготовился, испытывая неловкость, ждать появления Во-

лика. На ветках кричали грачи. У молодых клювы были черные, у старых — светлые, немало им за долгую жизнь пришлось покопаться в земле: от этого и побелели их мощные клювы. Я с болью подумал: неужели мы с Надей посеем в разлуке?

Волик подъехал на такси, расплатился и пошел мне навстречу, широко улыбаясь, словно старому другу. Он был в куртке и все в той же капитанке с крабом. Шлепнув меня по ладони и крепко сжав ее, он, обаятельно зардевшись, сообщил:

— Встретил дружков, во льдах вместе тонули — прекрасные люди. Пригласили отметить, а в кармане мелочь. И вспомнил про должок, извините меня, конечно.

— Это вы меня должны простить, — пробормотал я, вручая Волику полсотни.

— Сдачи-то у меня не будет.

— Вернете когда-нибудь...

Он вернул на следующий день. Я пригласил его к себе, угостил ужином, и Волик просидел у меня до вечера. О Наде, словно по уговору, мы не сказали ни слова, но он рассказал мне историю об одной москвичке, которая приехала в долину на Северный Кавказ для лечения. Она была больна туберкулезом, вспыхнувшим после воспаления легких. Я попросил описать ее внешность, и когда Волик это сделал, вспомнил и повторил про себя: «Ты бросил в мир поступок, и как от камня, кинутого в воду, пойдут круги, так и от твоего поступка потекут последствия, и неизвестно, как далеко они утекут».

В тот день, когда Волик впервые увидел ее, все вокруг было белым — заиндеветские деревья, белые астры под пушистым снегом, дальние вершины, пустая палата, выбеленная известью, подушки и простыни одинокой постели, на которой сидела больная. Остановившись на пороге, Волик был поражен обликом женщины. Ее маленькое лицо горело,

бледные руки были стиснуты между колен, а в огромных зеленых глазах тлело нетерпение. В застиранном халате среди спящей белизны женщина показалась Волику угнетенной, печальной, но заманчивой. Главврач представил Волика, сказал, что много рассказывал о нем и, извинившись, исчез.

— Значит, это вы Сын солнца? — спросила женщина. — Решили меня исцелить?

Волик не понял, насмехается она над ним или спрашивает серьезно. И стал не очень внятно, однако все более воодушевляясь, говорить о целебных свойствах трав, животного жира, горного воздуха и ледяной воды.

— Вы кто? — прервала его женщина. — Болтун? Или действительно можете мне помочь?

— Могу! — убежденно воскликнул Волик. — Перебейрайтесь ко мне на турбазу, и я вас гораздо быстрее подниму на ноги, чем в этой больнице.

— Это не больница, а санаторий, и я еще не умирающая, — раздраженно заметила женщина. И неожиданно спросила: — Выгляжу ужасно?

Волик запротестовал.

— Полное падение. — Она взяла с тумбочки овальное зеркальце с костяной ручкой и сама себе показала язык. — Даже не подмазалась к вашему приходу. — И неожиданно поинтересовалась: — В поселке продают шампанское?

— А вам можно?

— А-а, наплевать! — кинула женщина. — Можете достать?

Его самолюбие было задето. Даже если она над ним издевается, он все равно раздобудет бутылку шампанского.

— Переезжайте ко мне на турбазу, — уговаривал Волик. — Воздух — нектар.

— Я жду писем, — призналась женщина. — И не могу остаться без адреса.

— Моя собака Вальда три раза в неделю бежит сюда в поселок с метеосведениями, — сказал Волик, — у меня барахлит радио. Собака приносит мне письма... когда случаются. И вам будет приносить. К ее ошейнику я приспособил кожаную сумку. На почте Вальду все знают.

Вероятно, Волик произвел на женщину известное впечатление, потому что она вдруг сказала:

— Приезжайте за мной завтра. А главврачу я дам расписку, что ответственность беру на себя. В конце концов я здесь не пленница. Мне надо... я обязана скорей поправиться.

Наутро Волик верхом на своем коне Али явился за женщиной. Она стояла на заснеженном крыльце возле своих чемоданов и говорила главврачу дерзости. Он стремился ее удержать. Но женщина поверила в успех скорого своего излечения и твердо решила рискнуть.

Волик связал чемоданы веревкой, перекинул через спину Али, усадил женщину в седло, и они тронулись.

Миновав поселок, они стали подниматься в горы и увидели карачаевцев, уходящих с пастбищ в аулы на зимовку. Горцы гнали перед собою скот и ослов, навьюченных кожаными мешками с айраном и брынзой. На невысоком перевале они дождались Волика и стали с ним прощаться до будущей весны, а потом подарили для женщины овечьи шивки и двух баранов с побитыми кровоточащими ногами, которые все равно до аулов не дойдут и годны только на то, чтобы их зарезать и зажарить. Волик поблагодарил, обнялся со стариками и двинулся с женщиной дальше. Он осторожно вел Али вдоль пропасти — ноги коня скользили. Женщина ничего не боялась, и это Волику нравилось. Он рассказывал ей, как летом склоны гор покрываются дикими тюльпанами, и среди них стоят тяжелые туры с ветвистыми рогами. А сейчас даже волки уходят отсюда ближе к жилью, а медведи готовятся к зимней спячке.

К заходу солнца Волик и женщина добрались до вися-

чего моста, перекинутого через гремющую, ворочающую валуны реку. Моет на ветру раскачивался, и перевести через него Али было нелегко.

К турбазе подошли они уже в сумерках. Волик помог женщине сойти с коня, невольно обнял ее, и она, изнуренная, с посеревшим лицом, припала к его ватнику и так постояла некоторое время, пронизанная чувством одиночества среди темнеющих гор и грохота реки.

— Как вас зовут? — словно опомнившись, спросил Волик. — Ведь я даже не знаю вашего имени.

— Рита, — ответила женщина. — Я совсем никуда не го-жусь, Сын солнца.

Он поднял ее на руки и внес в холодную темноту турбазы.

Наружную дверь Волик никогда не запирает. Комнаты, в которых летом жили альпинисты, сейчас были заколочены и не отапливались. Лишь в двух было относительно тепло — в той, где спал Волик с собаками, и в соседней, где стыл ночами Али. Но он был крепкий конь и спал стоя.

В жилую комнату Волик внес чемоданы, зажег лампу, усадил на топчан женщину и, накрыв ее буркой, стал разжигать железную печку. В комнате пахло животными, дымом распадающихся щепок чинары, овчиной. Женщина куталась в бурку, задыхаясь, кашляла, держа у губ платок. Стены вокруг были обиты матрацами. Над топчаном висели два ружья — мелкокалиберная и старый «манлих». На длинном некрашеном столе у окна лежала скрипка в футляре, обернутом шкурой, стоял барометр, фонарь-молния, мензурки в стойке, маленькие ведра запасных дождемеров, валялись ноты.

Из-за шума реки говорить приходилось громко.

— А что вы будете делать с баранами? — спросила женщина.

— Поставлю их пока в соседнюю комнату, рядом с Али.

Печка нагрелась, стало теплее. Волик варил мамалыгу и на большой сковороде разогревал киржины — лепешки из кукурузы. Потом он крикнул:

— Мадам, ужин подан.

И Рита, вымыв руки у раковины, висящего в углу над ведром, села к столу. Они ели молча, Волик испытывал чувство вины: сейчас он видел свое жилье и убогий быт глазами Риты. Он подал ей деревянную кружку с пенящимся айраном, она выпила его с отвращением.

Спать Волик ушел в соседнюю комнату и лег, укутавшись шкурами, на пол между Али и бараками, поближе к теплой стене, за которой была печка. Он слышал, как Рита надрывно кашляла.

Ночью, взяв фонарь, Волик вышел из дома и под косо летящим сырым снегом побрел к метеостанции, где поскрипывал на высоком шесте флюгер. Сюда Волик приходил три раза в день — в шесть утра, в полдень и в час ночи. А утром, если можно было прорваться через заносы, Вальда с сумкой на шее отправлялась в поселок.

Возвратившись в дом, Волик зашел в жилую комнату, чтобы закрыть в печке комфору, Рита не спала.

— Кажется, у меня высокая температура, — сказала она.

Волик поставил на стол фонарь и протянул Рите градусник.

— Не уходите, — попросила она.

Он сел на край топчана и плотней укрыл Риту буркой. Температура действительно оказалась высокой, и Волик сказал, что должен Риту растереть нутряным волчьим жиром. Он смазал ей спину и грудь и ноги и долго умело массирует ее горевшее в лихорадке тело, — она не сопротивлялась. Потом он принес свои шкуры и лег на пол возле топчана, на котором металась Рита. Только теперь Волик понял, какую ответственность легкомысленно взвалил на себя.

Температура у Риты стала падать на пятые сутки. Все

это время Волик не отходил от нее, поил травами, растирал жиром, кормил.

И однажды утром она поднялась с постели и заявила, что пойдет с ним на метеостанцию. Он сопровождал ее в трусиках, рядом бежали собаки. Сняв показания приборов, Волик прыгнул в ледяную воду и несколько раз окунулся. Риту это восхитило.

Через несколько дней они уже вместе ходили на лыжах в горы проверять рейки, показывающие подвижки ледников. А потом Волик на скале играл для Риты ноктюрны Шопена, и скрипка под смычком его пела с пламенностью чуть-чуть цыганской.

Прошло недели две, и Волик стал купать Риту в ледяной заводи, и с каждым днем она чувствовала себя все лучше. Погружаясь в обжигающую воду, Рита от ужаса и физического счастья кричала, но грохот реки заглушал ее вопли. Волик закутывал ее в бурку и нес на руках в их жарко натопленное жилище и поил густым чаем и овечьими сливками.

Вальда, прибегая из поселка, приносила сумку пустой — писем для Риты не было.

Рита нервничала, и Волик решил устроить праздник.

Он зажарил баранью ногу, обернул ее тряпкой, засунул в рюкзак и туда же сложил бутылочки с настойкой на березовых почках и елочные игрушки. Бросил на сани рюкзак и двойной спальный мешок и велел Рите потеплей одеваться.

Они пересекли снежную поляну, вошли в лес, и Волик стал наряжать самую красивую елку игрушками, свечами, бутылочками на нитках.

Когда стемнело, они с Ритой развели небольшой костер и залезли в спальный мешок. Над ними потрескивали желтые парафиновые огни. Роняя в снег шипящие капли и чадя, постепенно погасли. Потух костер. Между елями в далеком холодном небе задрожали звезды.

С этой ночи их отношения изменились: Волик стал

важен и снисходителен — решил, что теперь Рита без памяти в него влюблена.

Он научил ее пилить чинары, готовить мамалыгу и рубить промерзшее мясо. Однажды она обнаружила на чердаке обглоданную барсом тушу барана. Волик кинулся за ружьем и до рассвета подстерегал хищника. Снимать показания приборов ходила Рита.

Рите это понравилось; она охотно возилась с термометрами и гидрорейками. Волик показал ей, как составлять сводки. Она была сообразительна и быстро все усвоила: три раза в сутки бегала на метеостанцию и вела записи, а Волик жил жизнью мужчины — чистил ружье, наставлял Риту и часами валялся на шкуре. Его праздное существование раздражало женщину, и временами она Волика ненавидела за все, — за праздность и лень, за то, что он ее вылечил или почти вылечил, за глуповатую отчаянность и романтические бредни, за самодовольную уверенность в своей неотразимости, за добро, которое однажды свяжет ее свободу, а свобода ей понадобится скоро — она наконец получила письмо.

Теперь Рита постоянно ждала писем, подтверждения каких-то своих надежд. Ей удалось уговорить Волика съездить с нею в поселок, и на почте она отправила кому-то телеграмму. Когда они вернулись на турбазу и вошли в свою жилую комнату, то увидели возле раскалившейся печки трех небритых мужчин в бурках. Раньше этих людей с короткими ружьями и ножами Волик никогда в долине не встречал. Гости потребовали еды, спирта и сказали, что здесь заночуют. Сидя за столом и уже захмелев, они смотрели на женщину выпуклыми черными глазами с белками, налившимися кровью. Волик понимал, что все это по-хорошему не кончится.

И вдруг сквозь рев реки он услышал близкий металлический клекот мотора. Они с Ритой выбежали из дома, натягивая на ходу ватники, и увидели опускающийся на темнею-

щую снежную поляну оранжевый вертолет. Когда его лыжи погрузились в мягкий снег и, шелестя, затихли длинные лопасти винта, из кабины мешковато спустился рослый, с тяжелыми плечами парень лет восемнадцати в меховой, с залысинами куртке, из рукавов которой вылезали большие руки с мотающимися на шнурках варежками. Чуть сутулясь и загребая ногами в высоких валенках снег, парень пошел им навстречу. За спиной его был вещмешок, а на плече берданка в чехле.

— Иван, — назвал себя парень. — Прибыл сменить. — Он поглядел на Риту с недоумением, а на Волика хмуро и насмешливо. — Про тебя слышал, — сказал Иван и помахал варежкой вертолетчику. — В этом месяце кончил те же метеорологические курсы, что и ты. Только пока свеженький, и придется тебе за недельку-две довести меня до ума. Оборудование небось здесь, старое?

— Ладно, пошли, — сказал Волик. — У нас гости довольно подозрительные. Так что ты прибыл в самый раз.

Собаки на турбазе лаяли, рвались с цепей. К Волику, рыча, подбежала Вальда. Войдя в дом, Волик и Рита обнаружили, что гости ушли, прихватив с собой бурдюк с салом и несколько лепешек.

Наступил канун Нового года. Волик с Иваном зарезали второго барана, вынесли из комнаты в пустующие помещения все вещи, застелили пол толстыми туристскими одеялами со склада и к полуночи уже сильно развеселились.

Рита танцевала, крутясь перед Иваном, и парень краснел от шен, как девушка.

Волик, пошатываясь, поднялся на ноги и заявил, что пойдет на станцию снимать показания приборов.

— И ты пойдешь со мной, — приказал он Ивану. — Одевайся.

Они вышли из жаркой комнаты в морозную ночь — летел льдистый снег. Держась друг за друга, они с трудом дотащились до метеобудки и вернулись обратно на турбазу только

через час. Рита спала, накрывшись буркой. Волик скинул ватник, нагнулся над ней и хрипло гаркнул:

— С Новым годом! Христос воскрес!..

Рита ударила его.

Потом они затихли. Иван, лежа у печки, рыдал от бессильной слепой ревности.

Наутро Рита и Волик ушли с турбазы. Перейдя через раскачивающийся мост над гремящей речкой, они миновали перевал, потеряли в снегопаде след и только через двое суток едва живые добрались до поселка, и Рита тотчас уехала в Москву.

Не помню уже, сколько прошло времени, но как-то вечером ко мне опять появился Волик. На этот раз он был во фраке, с белым галстуком, косой пробор рассекал его жесткие каштановые волосы. Он со мной расцеловался, дыхнул в лицо сложным травяным запахом.

— Ты меня, конечно, извини, я прямо с концерта, без звонка. — Он откинул фалды фрака, плюхнулся в кресло и вытер платком шею. — Но должен тебе рассказать... Свербллова знаешь? Учителя сестрицы? Сегодня играл его ноктюрн. Шикарно написана вещица. Так вот, музыковед сказала публике, что автор и исполнитель ренессансные натуры: музыканты, и ученые, и альпинисты и т. д. Решила — я тоже доктор наук. — Он отдышался немного и с ухмылкой спросил: — А Риту помнишь?

Вопрос был достаточно неожиданным. Я ждал продолжения.

— За бугор махнула Риточка, — Волик присвистнул. — Не возражаешь, я с тобой по-товарищески, без церемоний?

Я пожал плечами.

— Наши ребята только что из-за границы вернулись. Один лабух знаком с ней, знал, что она жила у меня на турбазе. Божится, видел ее портрет в каком-то модном жур-

нале: стоит Риточка возле своей белой виллы, а рядом фотографии ее роскошной машины и духов, которыми дуются. А? Что скажешь? — Он задышал по собачьи и спросил: — А знаешь, как все получилось? Завела дружбу с посольским шофером...

— Ну, ну? — Я вспомнил парня с красивым грубым лицом, который возле клуба усадил Риту рядом с собой в «мерседес».

— Через него, — продолжал Волик, — познакомилась с красавцем атташе — шофер его возил. Атташе влюбился в Риточку, получил разрешение от своего правительства и женился на ней. Пожертвовал ради Риточки, можно сказать, карьерой, а она за границей его бросила и вышла замуж за богатого старика, губернатора какого-то. Возможно, и брехня имеется в этой истории. Но лабух из Госконцерта уверяет — все точно. — Засмеявшись, Волик обнажил мелкие детские зубы. — Я Надежде рассказывал, как эту самую Риточку купал в ледяном ручье. — Он подвигал пальцами, словно нажимая на струны, отвел в сторону глаза и сказал: — Витяня в армии, на границе служит... Позвони сестрице. — И опять часто задышал носом. — Скоро опять куда-нибудь махну... на природу — подальше от цивилизации и атома.

— И будешь дышать, наслаждаясь?

— А что?

— Все правильно — пусть дураки тут задыхаются, рвут себе нервы, вкалывают, служат.

— Не понимаю тебя.

— Ладно.

— Я тебя обидел?

Он явно ничего не понял и неуверенно повторил:

— Позвони сестрице...

Когда Волик удалился, я вынул из ящика телефон, однако, взглянув на часы, звонить не стал — был час ночи. Я знал, что не усну, и, надев пальто, спустился вниз, открыл

дверцу «Жигулей», забрался внутрь и некоторое время неподвижно сидел в машине. Потом повернул ключ зажигания и вздрогнул — мотор взревел. Я испугался, что разбуджу весь квартал и помчался по пустым улицам. На перекрестках мигали желтые глаза светофоров. Все было сцеплено одно с другим: мои мысли о Наде, о Викторе, Волике, Рите... Вспомнилось ее маленькое лицо в жару и руки, тянущиеся к кислородной подушке. Всплыл последний разговор с Виктором о войне.

И меня охватила тревога. Сейчас она была связана с моим «Трибуналом». Я испытывал неуверенность. Как создать атмосферу международного суда? Как снимать эти сцены? Я прочел кучу книг, просмотрел на экране все кинодокументы Нюрнбергского процесса.

Все сплелось одно с другим. Я заставил себя думать отвлеченно. Ребенок, выбрасывая из своей коляски игрушку, утверждают астрономы, влияет на движение небесных тел. Мы не можем шевельнуть пальцем, не беспокоив всех звезд. И нельзя сказать: яблоко упало на землю, — земля и яблоко упали друг на друга. Как очаровательно парадоксально и утешительно выглядит взаимозависимость на космогоническом уровне и как больно на человеческом!.. Опять разговор с Витяней всплыл. Тогда я не сумел ему ответить. А ведь уничтожение человека человеком... может быть нравственным, а значит, человеческим, если... оно связано со справедливостью.

Что-то заставило меня свернуть с площади Свердлова на Пушкинскую, я медленно проехал мимо Колонного зала Дома Союзов, прижал машину к асфальту, пересек улицу и, остановившись на углу, долго смотрел на двери. И все вспомнил! В эти двери со стороны Георгиевского переулка я вошел, имея пригласительный билет на процесс Пауэрса — я работал тогда в газете.

Американский разведывательный самолет «Локхид У-2», пилотируемый воздушным шпионом Френсисом Гарри Па-

уэрсом, был сбит ракетой, сошедшей с пусковой установки дивизиона майора Воронова. Для Пауэрса это было ошеломляющим ударом — в центральном разведывательном управлении убедили его, что высота, на которой он полетит, недостижима для советской военной техники.

Я протиснулся в зал в тот момент, когда два солдата ввели подсудимого и стали — один сбоку, а другой позади Пауэрса. У того, кто стоял за его спиной, были большие уши, чуть оттопыренные низко надвинутой фуражкой, — он неотрывно смотрел в затылок американца. Пауэрс был в светло-синем костюме с ярко-голубым галстуком. Перед ним на столике лежал карандаш и стопка писчей бумаги. Временами он брал листок и делал записи.

Еще не все места впереди были заняты, и я протиснулся между рядами и сел поближе к возвышению, где за столом с гербом СССР на стульях с остро удлинненными спинками сидели три генерала в светлых кителях и с колодками орден-ов. Прокурор расположился за своим пюпитром слева, а адвокат перед обвиняемым.

Когда председатель суда через переводчика спросил подсудимого, почему среди его захваченного снаряжения оказалась зажигательная жидкость, Пауэрс торопливо записал вопрос на чистом листе, и у него от волнения сломался карандаш.

Председатель спросил, намеревался ли подсудимый про-извести поджоги. Американец заморгал, и я увидел его арменоидные глаза с припухшими веками и мешками под ними. Он выслушал переводчика и ответил, что зажигатель-ная жидкость была придана ему для разведения костров на случай аварии.

Среди публики зашептались. Особое оживление возникло в той части зала, которая была отведена для членов дипло-матического корпуса. Там появилась Барбара Пауэрс в со-провождении двух своих адвокатов. Она была одета элегант-но, но во все черное, словно желая подчеркнуть, что готовит-

ся стать безутешной вдовой. На ней была черная шляпка, черное платье, черные туфли. Адвокаты, наоборот, были экипированы весьма ярко — в твидовых пиджаках с цветными бабочками. Они жевали в зубах погасшие сигары, громко разговаривали и были галантны с дамой в черном, смеялись и вели себя так, словно явились на театральную премьеру.

Они заняли места в ложе позади кресел, отведенных для дипкорпуса. Здесь уже сидели сестра и мать подсудимого с несчастными лицами, отец его, сапожник Оливер Пауэрс, исподлобья, с ненавистью смотревший на сноху и адвокатов, и коротко остриженный парень с заплаканными глазами — друг детства обвиняемого.

Во время допроса подсудимого парень все время пытался поймать его взгляд, а мать закрывала лицо морщинистыми руками.

В перерыве родные Пауэрса остались в ложе, а жена его и адвокаты вышли в фойе. Щелкнув золотой зажигалкой, Барбара дала им прикурить. У нее были длинные ногти, покрытые лиловым лаком. Она вызвала всеобщий интерес, и это ей нравилось. Мимо прошли два американских корреспондента, и один из них кинул спутнику: «Сука. Из-за нее парень влип». Уже всем было известно заявление Пауэрса, что он дал согласие участвовать в разведывательных полетах над территорией Советского Союза из-за жены, которая понимала его, что он мало зарабатывает. С того момента, как он вошел в разведывательную группу, ему стали платить 1000 долларов в месяц. Его жизнь купили, и он ее продал ради дамы в преждевременном трауре.

В группе советских журналистов кто-то рассказывал:

— Эта дама вообще оказалась весьма предприимчивой. Как только Пауэрс был сбит и это стало всем известно, она тут же продала журналу «Ньюсуик» письма мужа. А он сообщал Барбаре, что впервые здесь, в тюрьме, прочел классический американский роман «Унесенные ветром». И советовал

быть осторожной и верить, что они в будущем смогут купить собственный дом. Когда членам семьи Пауэрса показали вещественные доказательства, Барбара, глядя на деньги, лежащие под стеклом, — доллары, франки, советские банкноты и золотые монеты, тихо спросила: «Это все?» «Нет, вот еще». И ей показали серебряный доллар, в который была вставлена булавка с ядом.

После перерыва наступил самый драматический момент в судебном заседании. Даже пахнущие сигарным дымом и терпкими мужскими духами адвокаты притихли. Главный советский медицинский эксперт подошел к длинному столу с вещественными доказательствами, где были разложены обломки винта самолета, зажигательные палочки, оружие Пауэрса, парашют, инструкции и прочее, взял какой-то малюсенький предмет в футлярьчике, направился с ним к подсудимому, вынул из футлярьчика прямую булавку из белого металла и сказал, что внутри ее, в канале с ядом острая игла. Кажется, председатель спросил Пауэрса, для чего его снабдили этой вещичкой.

После долгого молчания подсудимый ответил через переводчика:

- Чтобы убить себя, если я буду сбит и попаду в плен.
- Вы знали, что в наконечнике смертельный яд?
- Знал.
- И какой именно — знали?
- Да, знал.
- Кураре?
- Да.

Я обернулся назад. Жена Пауэрса сидела с прикрытыми глазами, откинув голову. Отец шептал не то проклятья, не то молитву. Мать оставалась неподвижной. Друг детства, всхлипывая, утирал слезы, катившиеся из его серых мальчишеских глаз. Во всем зале только этот парень и мать подсудимого искренне страдали.

Председатель суда спросил Пауэрса:

— Почему же вы не выполнили инструкцию и не убили себя?

— Я хотел жить... я не понимал, почему должен умереть... я рассчитывал на милосердие.

— А теперь?

— Во всяком случае пока со мной обращаются по-человечески.

Я поглядел на лица сидящих позади меня москвичей — рабочих, общественных деятелей, пожилых женщин. Лица были суровы...

...Прокурор задал вопрос подсудимому:

— Знали ли вы, что ваш полет может вызвать военное столкновение?

— Пусть об этом думают те, кто меня послал, — быстро и как-то растерянно бросил Пауэрс.

— Но вы понимаете, что своим поступком посадили на скамью подсудимых рядом с собой всю Америку?

Подсудимый молчал. Солдат с оттопыренными ушами наклонился над его затылком так низко, что Пауэрс, вероятно, слышал его дыхание.

И тут кто-то вбежал в зал и громко крикнул по-английски: «Внимание!» Остальное я не разобрал.

Особое оживление возникло среди дипломатов, некоторые из них быстро вышли в фойе.

Над столами журналистов с пишущими машинками, диктофонами и прочей техникой повис гул. Один из американских корреспондентов кричал в микрофон:

— Молния! Передачу прерываю. Чрезвычайное сообщение: «Русские собаки Белка и Стрелка в космосе!»

— Вы поняли, Пауэрс, что посадили на скамью подсудимых свою страну? — повторил в зале председатель суда.

Главный медицинский эксперт все еще стоял перед Пауэрсом с маленьким смертельным скальпелем в руке.

...Я возвратился к машине, сел за руль и поехал, пересекая перекрестки с мигающими желтыми глазами. Вспом-

нившиеся подробности суда над Пауэрсом дали воображению необходимый толчок и смешались с вымышленными ситуациями «Трибунала». Я мчался по темным улицам, сочиняя обрывки диалогов, подробности обстановки. Теснились лица, оживала атмосфера процесса — я работал...

Источником новостей, но не слишком достоверных, вновь оказался Волик. Я его встретил у проходной станции обслуживания автомобилей на Комсомольском проспекте. Он поджидал свою новую «святая святых», на этот раз автослесаря Зою Старостину. Разумеется, Волик тут же рассказал ее историю. Зоя успешно закончила технический вуз, помялась год-два на инженерской ставке, составляя малополезные отчеты, плюнула на диплом и пошла работать слесарем на станцию. Волик с гордостью заявил, что Зоя хороша, остра на язык и с мужчинами беспощадна. «Замуж? — говорит. — А для чего? Еще на мужика батрачить?» Летом ездит на юг одна, но не ради курортных радостей, а тренироваться для предстоящего похода на лодках вокруг Африки.

— Да, кстати! — воскликнул Волик. — Опять тот лабух ездил на гастроли за бугор, и знаешь, что рассказывает? Мужа Риты застрелили африканцы, а Риточку повесили, как шпионку. Уверяет, сам слышал по радио. Жуткое дело, а?!

«Земля и яблоко упали друг на друга! — вспомнил я. — Мы не можем шевельнуть пальцем, не обеспокоив всех звезд...»

— Вон она! — взял меня под руку Волик, и мы двинулись навстречу плотной статной женщине с синими глазами, дерзко и решительно глядящими из-под кутерьмы белокурых волос. — Знакомьтесь.

— Старостина Зоя, — протянула мне загрубевшую трудовую руку подруга Волика.

Мысли у Сына солнца прыгали, словно разноцветные зайчики. Он спросил меня:

— Надежде звонил?

— У нее телефон не отвечает.

— А, верно, — подтвердил Волик. — Сестрица получила разрешение повидать Витяньку и двинула в какой-то городок, куда парня обещали на пару дней отпустить. — Мы пробирались между «Жигулями», сгрудившимися во дворе станции. Сляющий зайчик прыгнул в сторону. — Если что надо с машиной, Зоя тебе все... по высшему классу.

Он обнял ее за талию. Она повела плечами и, вынув из карманчика на пышной груди оттиснутую по всей форме визитную карточку, протянула мне.¹²

— Тут местные и домашние координаты. — Она шлепнула Волика по руке, охватившей ее бедро. — И Сын солнца по этому же телефону. — Она поглядела на него синими очами убежденной в своей власти собственницы. — Временно... до похода.

Я спрятал в бумажник карточку, в некотором замешательстве распрощался с Воликом и его подружкой.

Через две недели ночью в ящике моего стола затрещал телефон. Я перевернулся набок и натянул на голову одеяло, решив не просыпаться: несомненно кто-то ошибся — мне некому было звонить в такое время. Через несколько минут треск повторился и уже не умолкал. В ярости я сел на постели, вытащил телефон и крикнул в трубку:

— Какого черта?! Это не общежитие, не милиция, не аварийная служба и здесь не гуляет веселая компания.

— Говорит Снежко, — донесся издали, из глубины ночи, словно записанный на магнитку, неживой голос. — С Виктором большая беда... Сейчас я к вам приеду, и мы решим, что предпринять. Дайте ваш адрес.

— Я ничего не понимаю, — крикнул я, и боль сдавила мне виски и грудь. — Я ничего не понимаю!..

— Большая беда, — повторил голос. — Дайте ваш адрес.

Я назвал улицу, номер дома и квартиры. В трубке слышались короткие гудки, и она упала на пол.

Чугунная плита, вдавившая меня в кровать, медленно стала уходить вверх, и я начал дышать ровней. Некоторое

время я неподвижно лежал в темноте. Потом поднялся, сел за стол, включил лампу и бессмысленно стал перекладывать с места на место листки черновиков. Нагнулся, чтобы поднять с полу трубку, и почувствовал, что я голый и сижу в одних плавках, а балконная дверь распахнута.

Сунув ноги в шлепанцы и накинув плащ, я вышел на балкон. В окне противоположного дома бежала зыбкая луна. Я попытался глубоко дышать, чтобы унять боль в груди. «Большая беда», — произнес опять над спящим городом далекий неживой голос Снежко. Я возвратился в комнату, сел на постель и посмотрел на часы — пятнадцать минут четвертого.

...В восемь я позвонил Наде. Но мне никто не ответил.

В течение получаса я набирал ее номер через каждые пять минут — безрезультатно.

Домашнего телефона Снежко я не знал и в девять стал звонить в институт. Там я выяснил: Надя из института уволилась, а Снежко уехал в командировку. Относительно Виктора никто из сотрудников ничего не слышал.

Обдумывая, как мне обнаружить Надины следы, я вспомнил о Волике и его новой подруге из автосервиса. Ее визитную карточку я нашел в бумажнике между шоферскими правами и техпаспортом.

Но и Зоины телефоны не отзывались — ни домашний, ни на работе.

Я решил ехать на станцию обслуживания. Кажется, это был единственный способ напасть на след Нади, найти ее. Я должен был это сделать, и помочь мне мог только Сын солнца.

На Садовой я застрял в рычащем потоке машин. Слева от меня, выбрасывая бурый перегар солярки, дрожал нагретым металлом огромный грузовик. Его колесо поднималось выше моей головы. Справа за баранками легковых автомобилей и пикапов нервничали водители, задыхаясь от нетерпения,

словно в пересохших аквариумах. Лица их были напряжены. Рычащее стадо стояло многорядно на глубину не менее полукилометра. Нас очень много, людей, подумал я. Водители сигналили. Мое нетерпение тонуло в нетерпении гудков. Какая-то девушка за рулем «фольксвагена» зажала уши и спрятала искаженное лицо в волосах.

Садовая оглохла. Наконец зажегся зеленый свет, и возбужденные человеческие нервы в железных коробках рванулись вперед, пытаясь друг друга обогнать, наверстать упущенное время. Мчались не машины — человеческие стремления, характеры, готовые сшибиться, заскрежетаив металлом, но и способные одуматься, улыбнуться и уступить в бессмысленной борьбе.

На станции обслуживания Зою Старостину я нашел быстро. Она стояла в яме под машиной, весело переругиваясь с другими слесарями. На ней был промасленный рабочий комбинезон, из карманов торчали ключи, нос испачкан, но на веках синели тени грима. Это был цех, где делали ТО дипломатам. Маленький японец в легком синем костюме «тропикаль» ходил возле своей «тойоты», с которой возилась Зоя, и говорил:

— Девуска, вы такой мастер и такой красивый девуска, что я должен знать вас телефон.

— С клиентами не встречаюсь.

Зоя встретила меня не слишком приветливо:

— После дипломата. Они вне очереди. ТО оплатили?

— Мне нужен Волик, — сказал я.

Лицо Зои стало хмурым, и она поглядела на меня почти зло.

— Собственно, даже не он, а его сестра.

Зоя вытерла руки «концами», сказала насмешливо:

— О сестре сведений не имею. А Сын солнца теперь наслаждается природой в Ясной Поляне.

Я загнал машину в цех и попросил Зою проверить тормоза, зажигание и продуть жиклеры. И пока она возилась со

всем этим, я услышал очередную фантастическую историю о Сыне солнца.

Зоя уехала на тренировки к морю, оставив Волику свои «Жигули» и доверенность на право вождения. Разумеется, это был пустодок легкомысленный, она понимает.

Однажды в ветровом стекле «Жигулей» перед Сыном солнца возникла провинциальная шляпка. Он резко затормозил, машину занесло, и девушка упала на асфальт. Охваченный паникой, Сын солнца свернул в переулок, потом в какой-то темный проезд, заставленный поливальными машинами, и врезался в столб. Оглушенный ударом, но никак не замеченный, он выскочил из помятого кузова, забыв ключи в замке зажигания, и проходными дворами побежал к месту аварии. Девушку в шляпке уже увезли, но зеваки все еще толпились возле сотруddников милиции, которые опрашивали свидетелей. Все сходились на том, что опрокинула девушку машина оранжевого цвета, но номера ее и лица водителя никто не запомнил. Явиться в ГАИ для дальнейших объяснений Сын солнца не решился, но утром наведлся в больницу. Узнав, что с девушкой ничего страшного не случилось, передал для нее цветы и фрукты. Однако от свидания с пострадавшей уклонился. Через день снова принес гостинцы и опять ушел, не повидав свою жертву. Сестры и нянечки над ним посмеивались — больно робок. Только через неделю он наконец решился и зашел в палату познакомиться. Девушка лежала на койке и глядела в окно на облака. Она была тоненькой, тихой и бледной, и ее испуганные глаза и беззащитная хрупкость умилили Сына солнца. Он сказал, что был свидетелем случившейся с ней беды и теперь регулярно станет навещать девушку. Вскоре он узнал, что она не замужем и работает в Ясной Поляне.

И они полюбили друг друга: Волик Катеньку (так звали девушку) за ее доброту, ненавязчивую проникательность и нежность. Катенька Волика за то, что он Сын солнца и сознался в своей вине. Когда он сказал девушке, что сбил ее

на улице, Катенька ответила: «Знаю. Я запомнила твое лицо».

Между тем вернулась с юга Зоя — загорелая, шумная, подорожавшая. И Волик сообщил ей, сильно робея, что разбил машину. Зоя осмотрела искореженное крыло, капот и бампер и кинула беспечно: «Подумаешь, горе! Наживем новую. Или эту отремонтирую. Зойка у тебя не бедная». И тогда, сраженный ее благородством, Сын солнца повинился во всем. Это было ночью в большом полутемном гараже.

— Я сбил человека.

Зоя вытерла руки «концами», и они пошли к ней домой.

Она приняла душ, переделалась, надушилась французскими духами, села в кресло, закинула ногу на ногу и, закулив сигарету, спросила:

— Кого сбил?

— Беззащитное существо. В Ясной Поляне работает садоводом.

— Кто-нибудь знает о твоём... художестве?

— Она знает. Я ей признался.

В глазах Зои побежали косые синие огни. Она спросила:

— Беззащитное существо, серая мышка, а ты и раскис?

Волик собрался с духом и сказал, что не может Катеньку оставить без забот, его мучает совесть, у нее сотрясение мозга второй степени.

— Ладно, — бросила Зоя. — Так вот гляди, дурачок. — И стала вынимать из серванта вазы и фужеры и бить их об пол. — Плевала я на все барахло мира. А предательства не потерплю.

Она колотила стекло яростно и методично. Он молча на нее глядел.

Потом она опустила в кресло и кинула:

— Бросишь ее. Иначе посажу. Хотя понимаю, что говорю как сволочь.

Сидя друг против друга и тяжело дыша, они курили. Зоя была величава.

— Все ясно.— Зоя поднялась. Встал и Сын солнца.— Влюбился в серую мышку. Отчаливай. Вон!

...Катеньку выписали из больницы, и Волик отвез ее на вокзал. Прощаясь, она заплакала и прошептала:

— Пойди сам в милицию и расскажи обо всем. Я буду тебя ждать в Ясной.

И Сын солнца подчинился кроткой Катеньке. Но, явившись в ГАИ, узнал: следователя вчера посетила Зоя Старостина и письменно признала свою вину, все взяла на себя.

— Да ведь ее и в Москве не было? — воскликнул Сын солнца.

Униженный самоотверженным поступком Зои, Волик кинулся к ней на квартиру, испытывая потребность обрушить на спасительницу возвышенное красноречие — Сын солнца снова любил только Зою Старостину.

Она отворила ему дверь, окунула в презрительную синеву своих глаз и шершавой трудовой рукой, благоухающей «дпором», вlepила Сыну солнца оглушительную пощечину. И дверь богини из автосервиса захлопнулась перед Воликом навсегда.

В тот же день он уехал в Ясную Поляну к хрупкой Катеньке, ибо не было сейчас под солнцем лучшего места для воссоединения с природой.

Взяв на студии недельный отпуск и захватив с собой диктофон и блокнот, я мчался по следам Волика, ныряя в машине с холма на холм. На спусках выключал зажигание, и мое захватывающее падение длилось сладостно долго. Когда же мотор возносил меня на зеленющие вершины, взору моему открывалась бесконечная волнистая, омытая солнцем даль, сливающаяся с горизонтом. Я не заметил, как промелькнул Серпухов.

Казалось, не будет конца падениям моим и взлетам среди лесов и душистых склонов.

Год назад, когда я решил во что бы то ни стало найти Надю, плывущую на старом пароходике, теперь уже, видимо, разобранном или ржавеющем на корабельном кладбище, мною владело непреодолимое влечение, отчаянная влюбленность. Сейчас меня бросало с холма на холм среди свистящих встречных машин чувство более глубокое — потребность помочь женщине, в которой сам прежде искал опоры, утешить человечески близкое мне существо.¹⁶

На недозволенной скорости я перемахнул мост и был остановлен рослым розовощеким лейтенантом ГАИ. Он вежливо козырнул и потребовал документы. Я протянул ему права, техталон и на всякий случай членский билет своего творческого союза: знал по опыту, что принадлежность к племени деятелей искусства иногда смягчает души сотрудников ГАИ.

— Нарушаем, товарищ кинорежиссер, — улыбнулся лейтенант, — можно сказать, с риском для собственной жизни?

— Моя милиция меня бережет, — вздохнул я.

— Неполно цитируете, товарищ, — и лейтенант радостно продекламировал:

Бодрые лица,
Револьвер желт,
Моя милиция
Меня бережет.

Он вернул мне документы, кинул руку к козырьку и сказал:

— Прошу следовать дальше. Было приятно познакомиться.

— Мне тоже. — Опыт меня не обманул.

Опять я мчался по следу, и у меня ныло под ложечкой от нетерпения и тревоги, и падения и взлеты среди вольного душистого ветра наполняли сердце преступным ликованием жизни, и все мешалось — скорбь, печаль, тревога и радость, и предчувствие встречи с женщиной, которую любил и кото-

рую так нелепо потерял. Чтобы успокоиться, я привычно заставил себя думать отвлеченно.

Следы, следы... Все, что существовало и существует, оставляет след. След в сознании и в истории. Следы на земле и во вселенной. Где жизнь — там следы.

И следы следов.

Я притормозил машину у обочины, вынул из портфеля диктофон и продиктовал:

— На процессе — следы преступлений против человечества, вещественные доказательства тайных политических убийств. Проследить развитие мысли: если от природы человек не только хищник, но и самоотверженный защитник будущего, то есть своего потомства, война для него не может быть естественным состоянием... Дать во время суда диапозитивы следов — тени людей на камнях Хиросимы, спаленных ядерным смерчем... Следы ног главных обвиняемых на обгоревшей земле тайных полигонов, на коврах посольских особняков, следы в Европе, Америке, Азии, Африке, Австралии... Древний человек выжил, потому что научился понимать следы — след зверя, след врага...

Я выключил диктофон и поехал дальше... Следы изучают пограничники. Виктора тоже учили читать следы. Какой след оставит его жизнь? Моя жизнь? Мир следов непостоянен. Их злейший враг — война. В ее огне гибнут следы человеческой культуры, нравственности... Остаются следы следов.

В Ясную Поляну я приехал к вечеру. Пожилой милиционер с добрым лицом, похожим на репу, только что выдернутую из земли, не захотел меня впустить на территорию музея-усадьбы, и мне пришлось возле караулки долго объяснять ему цель позднего своего появления. Наконец он уразумел, что я ищу Волика, и щеки его с землистой щетинкой зарумянились.

— Так бы и сказали сразу! Скрипач? Старшего садовника Катерины Станиславны... Сыч солнца?

Я рассмеялся, подтвердил.

— Душа-человек.— И милиционер вздохнул.— Только в последнее время выпивает. И высказывается. Какую-то Риту и еще Зою вспоминает. А Катерина плачет.

— Где мне его найти?

— Да на территории.— Добрый милиционер опять вздохнул.— Гроза у нас была. До утра свет выключили. Я вас провожу. Вы поставьте машину в сторонку.

Я включил заднюю скорость и отъехал к ограде.

— Сань! А Сань! — крикнул милиционер в караулку.— Слышь, вахтер, я товарища из Москвы к Всеволоду Сергеевичу провожу. Не кимай!

Мы пошли мимо темных мокрых деревьев и каких-то строений. Я бывал здесь прежде, но днем, и сейчас ничего вокруг не узнавал. Проводник мой остановился и прислушался. С веток капала вода. В сырых сумерках за рощей жаловалась скрипка. Скоро мы подошли к старой аллее и увидели играющего на скрипке Волика. Где-то здесь прежде стоял столб с табличкой «Зона тишины». Эту надпись изобрел ученый хранитель музея-усадьбы. Смычок касался струн то фальшиво и неуверенно, то певуче, бурно. Это была импровизация, в которой звучали и «Трель дьявола» Тартини, и «Мелодия» Глюка, и нечто надрывное, цыганское.

— Всеволод Сергеевич,— сказал милиционер,— к вам приехали.

— Не мешай! — кинул Волик, качнувшись и взмахнув в воздухе смычком.

Он меня в наступившей тьме не заметил.

— Сколько раз я вам указывал, Всеволод Сергеевич: нельзя тут играть в неположенное время. Тем более выпивши. Скоро ночь.

— Уйди.

— К вам, говорю, приехали.

Волик пощипал пальцами струны, рванул смычком и умолк.

— Кто? Где? Зачем?

— Товарищ из Москвы. Вашей сестрой интересуется.

— Сестра Надежда дура! — гаркнул Волик, отступил к дереву и, не устояв на ногах, упал на колени в мокрую траву. — Все бабы дуры. Где-то здесь был футляр... А?.. Вот он... — Волик сложил в него скрипку и смычок и попросил милиционера: — Помоги подняться.

— Противно смотреть, Всеволод Сергеевич. Опять лишнее позволяете.

Я подошел к Волику и поднял его.

— А-а-а, это ты?.. Поделуемся!.. — И он облобызал меня.

— Где твоя сестра? — спросил я. — Что с Виктором?

Он оттолкнул меня, шагнул и, поскользнувшись, налетел на милиционера.

— Будь другом, отнеси Катерине скрипку. И пусть скажет, где сестра, и адрес на бумажке напишет. Я забыл. — Он подал милиционеру футляр с инструментом, потянул носом и, обратившись ко мне, спросил: — По-собачьи дышать умеешь? Вот так. — Вытянувшись и запрокинув голову, Волик стал дрожать всем телом и кистями рук и часто, часто дышать. — У-учись. Сырую воду пей, травы. Закаляйся. А-а-а! — махнул он рукой. — Ты тоже интеллигент! Простуды боишься. Смерти боишься. А я ничего не боюсь. Железная воля. Я вершину брал. Один в живых остался. По-собачьи дыши, по-собачьи. Катерине скажи, — крикнул он вслед милиционеру, — что она тоже дура. Ты тонкий, мудрый человек, ты меня понимаешь, скрипку не урони. Старый редкий инструмент. Иди, иди, целую тебя. А мы побеседуем. — Повернувшись ко мне и словно вспомнив о чем-то очень важном, сказал: — Подорожник собирай, суши и настаивай. Знаешь, как бодрит?

Я попытался прервать Волика:

— Куда уехала твоя сестра?

— Сейчас Катерина скажет. — И опять зашептал: — По-собачьи дыши. По-собачьи. Плюнь на баб. — И вдруг вспомнил: — К нашей двоюродной сестрице Анне отправилась. Под Херсон. Как же это место называется?!.. А, черт! Обиделась на меня Надежда, что я с ней не поехал к Витяньке, когда он обгорел. А зачем ехать, если я презираю боль и смерть?

Вышла луна, и стало светло, деревья отбросили черные тени. Я поглядел на Волика: глаза его без ресниц налились кровью.

— Все бабы дуры, — повторил он. — И луна дура. — Он указал рукой на ночную нашу спутницу. — Осквернили ее, потоптали. Уже не девственница, баба.

— Что ты несешь?! — послышался из темноты высокий ломкий голос Катеньки, Катерины Станиславны. — Что несешь?!

— Исчезни! — зверовато обернулся Волик. — У меня свое мнение. Я свободный человек. А ты попугай, по десять раз в день одно и то же повторяешь!..

Катенька появилась тоненькая, высокая, вся в белом.

— Уйди сейчас же отсюда! И вы, пожалуйста, уходите. Меня выгонят в конце концов. О боже!..

— И уйду! — гаркнул Волик. — Навсегда.

— Ради всего святого, — взмолилась Катенька, — перестань молоть вздор!

— Отстань, мешанка!

Он оторвался от меня и кинулся к ней за деревья, и теперь доносились только его хриплые выкрики:

— Лицемеры! Все боитесь смерти! Все вы вроде Надежды. Ну не поехал я с ней, потому Витянька обгорел, однако выжил... Так в чем дело?!

Меня догнала Катенька.

— Он страшен, когда выпьет. Идемте, я вас устрою на ночь. Ведь вы с дороги.

— Нет, нет, — сказал я, — спасибо, мне надо ехать, я на машине.

— А то бы переночевали? К утру он утихнет. — Мы остановились под фонарем. — Вот адрес двоюродной сестры Надежды Сергеевны. — Она подала мне бумажку. — Все просто: Аскания Нова, Херсонская, Поливановы. Доедете до Ново-Алексеевки и свернете направо. Раньше там профиль был — грунтовая дорога. Но сейчас, говорят, построили новую. От Симферопольского шоссе километров сто, мне кажется, не больше. Но отсюда долгий путь, через Харьков... Семьсот, не меньше.

— Я знаю, бывал по соседству в Каховке. Еще раз спасибо.

Из кустов вышел выбеленный луной Волик.

Я помахал ему рукой.

— Извини меня, старик, — крикнул он мне. — Дыши по-собачьи. По-собачьи дыши. Передай сестрице привет.

— Передам, — ответил я, прекрасно понимая, что равнодушные Волика к Надиной беде налагает на меня дополнительные обязательства и я должен спешить в Асканию.

Мы пошли с Катериной Станиславной под деревьями. Здесь было сыро, с веток еще капала вода, а теплый ветер приносил запахи ночного поля. Катенька держала меня за рукав, говорила тихо, с болью.

— Надежда Сергеевна права. В нем все меньше понимания окружающих, сочувствия. Бесконечные пустые речи. Иногда блеснет мысль. Иной раз даже замечательная. Он бежит от всех, потому что боится... теряет профессию. Всех осуждает. Мне страшно. В особенности когда начинаются эти пьяные беседы и концерты. А все от него в восторге — самобытная натура! А мне страшно. Ведь я люблю его...

— Успокойтесь, Катерина Станиславна, — отворил я калитку, и мы вышли к караулке, в окнах которой горел свет. — Мне кажется, вы скоро перестанете его любить. Вы умница.

— Откуда вы знаете! — безнадежно кинула она, дрожа в своем белом с мелкими цветочками платье. — Он прав. Я дура, как все... если терплю его дикий эгоизм, пещерное хамство. — Она слабо улыбнулась, качнувшись на поднявшемся ветру. — Но он Сын солнца.

— Безусловно.

Мы оба рассмеялись. Я сел в машину и завел мотор. Мне хотелось сказать Катеньке на прощание что-нибудь ободряющее, но я не находил слов. Я высунулся и поцеловал ее узкую руку, пахнущую лекарством. Она заплакала и прошептала:

— Спасибо.

Я захлопнул дверцу и проехал мимо караулки, в дверях которой курил пожилой милиционер с лицом репы. И я тоже сказал ему «спасибо», включил фары и помчался к Симферопольскому шоссе.

В гостинице для автомобилистов ни номера, ни даже койки для меня не нашлось, все было занято. Конечно, я мог переночевать в машине, но было холодно, и я поехал в город. На маленькой площади недалеко от вокзала я увидел ярко освещенную газосветными трубками пустую парикмахерскую, внутри которой стояли три кресла с откидными кожаными подушечками для головы и никелевыми подставками для ног. В одном из кресел за стеклянной витриной спал военный с погонами полковника. Я вышел из машины, размял затекшие плечи и заглянул в двери заведения. Старуха уборщица мыла пол. Не разгибаясь, она окинула меня быстрым сметливым взглядом и буркнула:

— Еще один!

— Здравствуйте.

— Тоже будешь в кресло проситься?

— Не прочь бы.

— Не убьешь? — скосила умный глаз старуха.

— Вы ж под охраной...

Мы говорили шепотом, чтобы не разбудить спящего.

— Трешку дашь — спи, пока убираюсь.

— Дам, — сказал я и с наслаждением вытянулся в парикмахерском кресле рядом с военным. Плотное лицо его было спокойно, глаза закрыты, дышал он ровно. Только выцветшие брови ходили. Вокруг летали бабочки и мухи.

Он спал в фуражке.

— Может, тебе чайку согреть? — спросила старуха. — Это можно. У меня вареньице есть.

— Варенья не надо, — кинул я сонно, — а вот от горячего чая не откажусь.

Старуха отжала тряпку, кинула ее в ведро, вымыла под краном узловые руки и, налив воды в большую кружку, поставила ее на электрическую плитку.

— Полковник с вареньицем попил, — шепнула старуха. — Я ведь хитрющая. Дам попробовать вишневого, а потом косточки посчитаю. Сколько косточек, такой, значит, характер — немелочный, или, скажем, с расчетом: много съем — платить придется. А я соображаю, какая благодарность от человека будет.

— Да вы Талейран, — кинул я, погружаясь в дрему.

— Чего-чего? Как ты сказал?

— Это был такой министр при Наполеоне.

— Думаешь, не знаю! — оскорбилась старуха. — Я читающая. И об нем читала. Только я не Талейран. Я в милицию могу тебя сдать...

— Значит, вы Фуше?

В эту минуту меня одолел сон.

Я вздрогнул от стука сапог. Мимо парикмахерской через площадь шли солдаты. Проснулся и полковник.

Старуха спросила, поджав губы:

— Еще раз вскипятить или без чаю угнездитесь?

— Без чаю, — кинул я.

Она растолкала нас, когда уже рассвело и в парикмахерской погасли газосветные трубки и было холодно и чисто.

— Пора, соколы, — сказала старуха. — Убралась я, ухожу.

Я дал ей трешку, ополоснув лицо, и мы с полковником вышли на площадь. За домами стучал длинный товарный состав.

Я отпер дверцу и забрался в машину.

— Далеко следуете? — спросил полковник.

— В Асканию.

— А я в Херсон, к семейству. Поезд пропустил...

— Может, подвезти до Ново-Алексеевской? Там мне сворачивать.

— Буду обязан.

Мы выехали на шоссе и снова начались падения и взлеты — с холма на холм, с холма на холм в утренней прохладе. Я мчался, чтобы заглушить вновь овладевшее мною беспокойство, не подозревая, что мой попутчик не даст мне этого сделать.

Навстречу нам катились трейлеры с панелями, поблескивающие цинком длинные холодильники, синие туристские автобусы, грузовые автоплатформы, на которых в два этажа стояли разноцветные новенькие «Запорожцы». Впереди за мостом шагнула на проезжую часть с поднятой рукой молодая женщина в косынке с цветочками. Я затормозил и прижал машину к обочине.

— Не подбросите до Новозыбкова, товарищи?

Я увидел озабоченное милое лицо, выбившийся на лоб белокурый локон и отворил заднюю дверцу.

— Мне б только до перерыва в банк поспеть.

— Цель, — спросил я, — если не секрет?

— Деньги выбить. На учебные пособия.
— Стало быть, вы...
— Нет, нет, — засмеялась она, — не бухгалтер. Директор школы.

— Сколько же вам лет? — удивился я.

— Двадцать семь. Старуха уже. А думали, девочка, да? Верно, верно, вид у меня не внушительный. — Она сняла косынку и стала причесываться. — Книги за жизнью торопятся, а не успевают. К примеру, два года назад наше знаменитое Новозыбково вообще не существовало на карте. Страна-то меняется. Вот и приходится учебники переиздавать. И так со всеми пособиями — и по географии, и по естественным наукам. — Она поглядела на погоны сидящего впереди полковника и простодушно спросила: — Атомная война будет? Или как, товарищ военный?

— Не осведомлен, — кинул полковник.

— Ужас какой! Как же детям объяснить целесообразность жизни, труда?..

— Такая задача всегда перед учителями стояла, — заметил я, — и в древней Греции, и в средние века.

— Ну что вы говорите! — возмутилась пассажирка. — Разве можно это сравнивать?

— Вы думаете, чума заманчивей радиации?

— Да ну вас! — Она выглянула в окошко и заторопилась. — Вот у той развилки, пожалуйста, остановите.

Выпрыгнув на мягкий, смолисто-черный асфальт, пассажирка крикнула:

— Спасибо большое. Но я вам не верю. — Она помахала рукой и скрылась в дрожащем нагретом воздухе за высокой желтой машиной, укладывающей вар.

— Вы в армии служили? — повернулся ко мне полковник, когда мы тронулись.

— Месяца три в стройбате, потом в военной газете работал, — ответил я.

— А я полжизни в погранвойсках, на заставах. — Он снял

фуражку и положил ее на колени. — Как газетчики описывают нашу жизнь? Дозоры, контрольно-следовые полосы, ночные погоня, как правило, учебные. А это все... внешнее...

— Я не газетчик.

— Застава, — продолжал полковник, — поселочек на краю земли. Сам он себя обогревает, сам себе светит, запасает еду. И есть привлекательность в этом существовании, и в погонях ночных и схватках, и в совместно пережитых опасностях, и в разговорах за чайком о житье-бытье, о службе. Все изменчиво в поселочке, но слышишь, как мир дышит...

К исходу дня шоссе раздвинулось, и мы вплыли в лесопарк. Стало меньше грузовых машин и больше легковых.

Миновали Харьков.

Полковник молчал, как заколоченный дом.

— О чем вы все думаете, полковник?

— Вопрос считаете... деликатным?

— Если так... можете не отвечать.

— Да нет, нет, почему же. Один недавний случай вспомнился. О нем в газетах писали.

Мы неслись в жарких сумерках, напоенных запахами дороги и лета, и мой попутчик негромко говорил, не подозревая, что мною все более овладевает волнение.

— Нарушители подожгли нефтеналивную баржу вблизи заставы, и ее понесло к причалам. А там наши катера, полно людей, ребят из летнего лагеря. Команда попрыгала за борт. Но какой-то солдатик с моторной лодки пытается багром отогнать пылающую баржу подальше от берега. Уже вода вокруг горит — горячее из днища вытекает. Но солдатик, окруженный со всех сторон пламенем, не сдается — совсем мальчишка... с большими нескладными руками... Как же его фамилия?

— Вы... вы не помните? — охваченный тревожным предчувствием, спрашиваю я.

— Поливанов... Виктор Поливанов, — трет рукой лоб полковник. — Да, точно.

Съехав с шоссе на проселок, я останавливаю машину под деревьями и выхожу в нагретый за день сумрак поля. Вдали стрекочет мотор самоходного комбайна, мимо летят огни трассы, белый свет фар ослепляет перебегающих дорогу сусликов.

«Надя, Надя, Надя, боль моя, любовь моя...»

Мы бродим с полковником в густеющих сумерках вокруг машины, говорим с внезапкой и полной откровенностью — он уже все знает обо мне и Наде, рассказывает, что Виктора удалось спасти.

— Надежда Сергеевна, можно сказать, на руках его выходила, ночи напролет от него не отходила. И когда солдатик стал уже поправляться, объявилась — подумайте! — родная мамаша, бросившая парня в младенчестве. Из газеты о подвиге и жизненной истории Виктора узнала и прикатила. Представляете, состояние Поливановой, приемной матери?

Мы снова мчимся в жаркой тьме. Я вконец измотан, глаза слезятся. Полковник вздыхает:

— Одно скажу — удивительной выдержки женщина Надежда Сергеевна.

Я сворачиваю к поздним редким огням городка. Искать гостиницу или Дом приезжих нет сил, и мы с полковником растягиваемся возле машины, прямо на земле, подстелив под себя плащи. Над нами темное душное небо без звезд, а рядом какие-то навесы, трещат цикады, пахнет бензином и перекалившимся металлом. Я лежу рядом с колесами с закрытыми глазами, а на меня все еще несется дорога, ослепляя резким невыносимым встречным светом. «Надя, Надя!...»

Мы просыпаемся рано утром продрогшие и видим, что вокруг нас шумят торговые ряды — мы улеглись накануне посреди базарной площади. Неловко поднимаемся и отряхиваемся, но никто не обращает никакого внимания на меня и

полковника. Покупаем соленых огурцов и дыню и узнаем, что заночевали в Ново-Алексеевке. Я довожу полковника до станции, и, обменявшись адресами, мы прощаемся с ним, вероятно, навсегда.

Проехав еще сотню километров, я увидел наконец надпись, укрепленную на шестах: «Заповедная степь Аскания Нова».

Я вышел из машины. Сладко пахли травы, колеблемые ветром. У горизонта степь сливалась с небом. Стояли редкие стога. Навстречу мне бежали три девушки. Босые загорелые их ноги поднимали над тропинкой сухую пыль.

— Шофер! Шофер!.. — разом выпрыгнули девушки на дорогу. — Подвези до Аскании.

Они уселись втроем на заднем сиденье — все в одинаковых белых платочках, в руках держали узелки с туфельками на высоких каблуках.

— Откуда такие нарядные? — спросил я.

— За расчетом в Асканию. Сено копнили. А вы?

— К Поливановым еду. Знаете таких?

— Как не знать, — отозвалась самая маленькая и бойкая. — Я в работницах у Анны Николаевны жила. Как в семье. Хорошие люди. И Надежду Сергеевну знаю, которая из Москвы... такая интересная, но не замужем. На Красноармейской улице они живут, на новой квартире. Только Анна Николаевна сейчас на работе.

— Вот вы нас у центральной усадьбы скинете, — с ленцой произнесла сидящая посредине полногрудая волоокая девушка, — а мы вас до самой ее лаборатории проводим. Это тут же, в главном корпусе, на первом этаже.

«Надя, Надя, очень скоро, сейчас... я открою дверь и...»

Я открыл дверь и вошел в лабораторию тонкорунного овцеводства. Посреди комнаты на высоком столе под лампой лежало руно овцы. Над ним склонились трое в белых хала-

тах: худая пожилая женщина, чем-то напоминающая Надю, стройная девица с подкрашенными, будто наклеенными ресницами, и лилипут со скопческим лицом, галстуком бабочкой и в лакированных ботиночках. В своей зеленой клетчатой куртке и темных очках я решительно шагнул к Надиной сестре, и Анна Николаевна всплеснула худыми руками.

— Кто вы? Как вы сюда попали? Что вам надо?

Я представился, Анна Николаевна успокоилась и улыбнулась добрыми голубыми печальными глазами.

— Я все знаю. Со слов Нади, конечно. К сожалению, она...

У меня оборвалось сердце.

— ...уехала в Новую Каховку, в библиотеку. Но скоро должна вернуться, возможно, даже сегодня.

Анна Николаевна познакомила меня со своими сотрудниками. Лилипут в белом халатике и лакированных ботиночках оказался кандидатом наук, высокая стильная девица — лаборанткой.

— Мы живем на Красноармейской, 22, — сказала Анна Николаевна протягивая мне ключи, — располагайтесь, отдыхайте. Дверь открывается без всяких фокусов. Я приду к пяти.

— Я поеду в Каховку... за Надеждой Сергеевной, — сказал я.

Степи Запорожья. Степи Таврии... Здесь в 1891 году прошла страшная черная буря, уничтожила посевы, опустилась на землю мертвыми холмами. А черный песок долетел до Германии и Швеции — такой силы был этот отшумевший ураган.

В Новую Каховку, тогда еще не обозначенную на карте, я уже однажды мчался — в юности: в дорожной пыли плескались голуби, посвистывал ветер в сухой, оставленной на се-

мена «суданке», пыльные дымки крутились над степью — шли автомашины: «газоны» и «козлы», тянулись бесконечные бело-розовые поля хлопка. Мир казался мне тогда иным — в нем было меньше трагического знания, черный песок атомной угрозы еще не осел в душах людей мертвыми холмами.

«Надя, я все еще надеюсь создать что-нибудь прекрасное, достойное, освещенное надеждой² и верой в человеческий разум, в его победу над эгоистическими страстями. Страсти — это те же идеи, сказал когда-то Лермонтов, но только в начале своего развития».

Тогда много лет назад, миновав деревянную арку строящегося поселка, я увидел на открытой сцене летнего театра длинный стол, уставленный швейными машинками, — работницы шили полотняный занавес с лозунгом: «Мир, труд и счастье». Городок возникал на песчаной земле бывшего винодельческого совхоза в двадцати километрах от старой легендарной Каховки. Умирали кусты винограда. Строители сушили на них белье. В песке лежали штук пятнадцать больших круглых электрических часов — городу «давали время». Среди часов стояла женщина, почти девочка, и укачивала ребенка. А в поле позади новеньких зеленых домиков темнели первые могилы.

«Надя, я не виноват, что память выбирает именно эти подробности, что ветерок уносящегося времени леденит и морщит мое сердце!..»

Из прошлого выплыла пойма Днепра, земснаряды среди островков ила. Я иду по трубам пульпопровода, раскинув руки, чтобы удержать равновесие. Я молод, свободен и беспечен, вокруг строится ГЭС.

«Надя! Все существует в нас одновременно — и любовь, и черные холмы отчаяния. Как же выразить это?»

Я остановил машину у здания библиотеки и, вбежав внутрь, не увидел, а почувствовал, что Нади здесь нет — ни в читальном зале, ни возле девушки, выдающей книги.

— Простите, — как можно более спокойно обратился я к ней, — Поливанова Надежда Сергеевна из Аскании, вернее из Москвы, была здесь сегодня?

— Поливанова? — Девушка помедлив, вспомнила. — Ну, конечно же. Взяла книги и...

— Давно?

— Часа два назад.

Назад я мчался полевыми дорогами. В клубах пыли пропадало прошлое. Машина подскакивала на рытвинах, встряхивая в багажнике громохочущие и позванивающие инструменты.

«Надя, Надя, Надя!..»

Возвратившись в Асканию, я легко нашел квартиру Поливановых и в прохладной тесной ванной комнате смыл с лица пыль бешеной дороги. Надя еще не вернулась. Расчесывая мокрые волосы, я смотрел на ее рабочий столик, который стоял островком среди только что вымытых крашенных полов. Узкая тахта была прислонена к стене, а стулья перевернуты и поставлены друг на друга ножками вверх. Анна Николаевна остановилась с мокрой тряпкой в дверях. В комнатках с распахнутыми окнами стояли запахи степной горечи и покоя. Анна молча подала мне табурет и вышла. Я сел возле стола, обвеваемый полынной прохладой, взял лежавший поверх рукописи и книг с закладками журнал «Англия», стал его перелистывать. Статья под названием «Пристрастие к одиночеству» была отчеркнута красным карандашом. «Шейла Скотт в одиночку облетела вокруг земного шара. Николлет Мианс-Уоркер пересекла Атлантический океан. Любое из этих занятий очень трудно само по себе, но принять подобный вызов женщине требует особой решимости», — прочел я и подумал: «А в одиночку перенести беду, случившуюся с Виктором?..»

«Только в воздухе я никогда не испытываю одиночества, — говорит Шейла Скотт. — На земле даже в толпе мож-

но чувствовать себя всеми покинутой...» С фотографии на меня смотрит немолодая высокая англичанка в брюках и короткой курточке, с фигурой манекенщицы. Она улыбается. Чему? Когда Шейла летала вокруг земли, опоясанная десятками проводов, измерительные приборы записывали все ее физические реакции. Эти провода ее связывали с людьми? Шейла в прошлом актриса, а двадцативосьмилетняя Николлет, пересекая Атлантику в парусной лодке, психолог. На фото ее широкое улыбающееся лицо. Николлет перенесла в открытом океане грипп, чуть не была опрокинута стадом китов, в жару управляла парусами голой, а чтобы поднять настроение, однажды среди водной пустыни подкрасилась. Для чего?.. Между страницами журнала, вложена вырезка из «Комсомольской правды». Заметка называется: «Одна без одиночества». Я не сомневаюсь, что журнально-газетные исповеди женщин как-то связаны с Нადиным настроением; потребностью заново найти себя. Некоторые строчки в газете подчеркнуты. «Считаю, — отвечает корреспонденту историк и филолог Лена С., — что компас одиночества не так уж плох. Во всяком случае надежен. Он требует рассчитывать только на себя, в себе находить главную силу и опору, и смысл, и интерес. Одиночество — это моральная защищенность и неуязвимость...» — «Что в жизни доставляет Вам высшую радость?» — спрашивает корреспондент. «Когда мне что-то удастся. Я честолюбива...» Почему этот ответ Лены С. тоже подчеркнут? Лена заявляет: «Я за личность, которая мыслит и действует, не ожидая милостей от судьбы». Чем заинтересовала Надю «самодостаточная» Лена, блестяще защитившая два диплома, не отрицающая в принципе любовь, но отдающая предпочтение разуму перед чувством («Считаю: разум — главное в человеке. И носителем морали считаю разум, а не эмоции»).

Я испытал смущение от того, что прочел все это, словно нарушил тайну переписки, вторгся в чужую боль.

И в этот момент вошла Надя. Я вскочил, зажав в руке глянцевый журнальчик.

Надя смотрит на меня испытующе, ее обвеваает ветерок одиночества. Мы оба молчим.

Губы Надя тронула улыбка, призрак улыбки.

— Здравствуйте, — просто сказала она своим низким мягким голосом, — рада вас видеть.

В дверях стояла тихая Анна, с тревогой глядя на сестру.

— Что ж вы о нас, одиноких дамах, подумали? — взяла у меня из рук журнальчик и положила на стол Надя.

— Я глубоко виноват перед вами...

— Ну что вы! — вяло отозвалась она. — Все это времена давно прошедшие, плюсквамперфектум. — Повернулась к сестре, сказала: — Мы пойдем в степь...

Я шагал рядом с Надей в синей полыни, говорил:

— Мне звонил Снежко. Но потом куда-то исчез.

— Я запретила ему... История с Виктором — мое горе, а не Снежко и не ваше, — жестко произнесла Надя.

Среди высоких душистых трав бежали по степи стада, сознавая свою свободу и прелесть мира. Надю окружил табунков большеголовых лошадей Пржевальского. Она стояла среди них, отчужденная, с закинутой головой, вдыхая заповедные запахи покоя. Сладко пахла земля.

— Что я могу для вас сделать, Надя? — спросил я. — Чем помочь?

Ничего не ответив, она только покачала головой. «Плюсквамперфектум, плюсквамперфектум...» Большеголовые лошади скрылись в душистом мареве.

Порыв жаркого ветра пригнул ковыли, за их мятущимися сизыми волнами стояла Надя и смотрела на меня спокойно из своего безрадостного одиночества.

Между нами лежало изваянное из гранита слово «плюс-квамперфектум».

Мы молчали. Надя шла впереди, а я сзади.

В старом парке возле пруда Надя взяла на руки цесарку и поглядела на кольцо, сжимавшее лапку птицы.

— Она прилетела из Австралии, — сказала Надя. — А вы?

— Из Ясной Поляны. Вам привет от брата. Мне кажется, он страдает.

Надя печально усмехнулась.

— Смешно и грустно, не правда ли? Брат и сестра Поливановы, претерпев жизненные поражения, осели в отчуждении по заповедникам... Для чего вы меня искали?

— Я совсем вам не нужен? — спросил я.

— Понимаете, — сказала она, — кто-то повернул выключатель вот тут, — она прижала руки к груди. — Потушил свет. Понимаете?

Мы вышли из тени деревьев на поляну. Под курортными грибами стояли вольные сайгаки.

— В пору сильной жары, одурманенные солнцем, сайгаки уничтожают друг друга, — сказала Надя. — Самцы не щадят самок, самки самцов...

— Что вы хотите этим сказать?

— Ничего, — ответила она. — Как-то летом — это было давно — погибли от солнечного безумия десятки этих редких животных, и у администрации были большие неприятности: прокуратура дело завела, скот валютный. Вот и придумали эти курортные грибки... на будущее...

— А так все звери живут здесь на свободе? — спросил я.

— Думают, что на свободе; — ответила Надя. — Просто они не сознают, что заповедная степь окружена изгородами, но только на большом пространстве...

— И никуда не убежишь?

— От себя не убежишь. — Она поглядела на меня близорукими глазами. — Если тебя обманули. Нет, нет, не вы. Все помню: сама заставила вас тогда уехать из Реченска. Однако, как всякая женщина, надеялась, что вы не исчезнете навсегда.

— Надя! — воскликнул я.

— Ну что? Теперь это не имеет значения. Не надо ни о чем жалеть. Хотите посмотреть местный зверинец?

Она была окольцована одиночеством, печалью и спокойствием. Мы шли к виднеющимся между деревьями вольерам.

— В войну немцы многих зверей закололи и съели, — рассказывала Надя. — Или просто перебили. У старого Фальцфейна, хозяина Аскании, говорят, даже тигры были...

— А где мой уж, мой змий? — вдруг спросил я. — Помните, которого я вам преподнес?

— Тоже оказался обманщиком — удрал. — На мгновение глаза Нади потеплели, и в них сверкнул смех. — Личная жизнь решительно не складывается. Мой учитель тоже бросил меня. Правда, из самых благородных убеждений. С точки зрения Сверблова, я настолько продвинула его тему, что теперь должна сама продолжать ее... И с Витяней непросто... после всего пережитого.

— Я знаю.

— Да? — удивилась Надя. — Откуда?

— Случай, случай!

— Когда объявилась несчастная Витякина мамаша, я сама настояла, чтобы он ее простил. «Да, ты сильная, — сказал Виктор, — а эта тетя, которая меня родила, слабая, дикая, без профессии... ее на свет надо вытаскивать. Вернусь из армии, будем с тобой решать, как дальше жить».

Мы идем вдоль клеток. Мир разделен — несколько стра-

усов, вытягивая шеи, томятся за проволочными сетками, а два их прирученных собрата, опередив нас, степенно покачиваясь, шагают теперь рядом, наклонив набок головы с длинными внимательными клювами, словно прислушиваясь к нашим словам. По бокам от меня и Нади два огромных пернатых яйца, два кустарника из перьев на морщинистых длинных ногах с когтистыми мозолистыми лапами.

— Такой куст, — говорит Надя, — бежит сто километров в час и ударом ноги валит лошадь. Посмотрите, он выше вас ростом.

— А этот несомненно хочет уяснить себе наши отношения и дать совет из глубин прошлого. — Внимательный клюв заглянул Наде в лицо. — Он спрашивает, как вы собираетесь жить дальше.

— Одна... без одиночества, — отвечает Надя ровным чужим голосом. — Работать... понять, почему так получается: человек знает, что хорошо, а делает, что плохо. Возможно, во мне проснулось честолюбие. Пишу книгу о человеческой совместимости... И жду.

— Чего?

— По рекомендации Гаспаряна меня оформляют в Международный институт человека. Это в Болгарии, на юге, говорят, в чудесном месте.

Нас все еще сопровождают внимательные клювы. Я спрашиваю:

— Но там вице-директором Снежко?

— Меня это не смущает.

— Как Люба С.? Покончили с чувствами и веруете только в разум?

— Да, чувства разъединяют людей... разъединяют...

— Если иметь в виду человечество, я с вами согласен. Его может спасти только разум.

— Я говорю о себе.

— Надя, что с вами?!

Мы остановились, и страусы деликатно стали в сторонке. Я держу ее за руку.

Она глядит на страусов.

— Слушают как люди... Виктор вас уважал... Он хотел быть вашим сыном.

— Простите меня, — едва слышно произношу я.

— Плюсквамперфектум, — повторяет она. — Не жалейте меня. Я уже взялась за ум. А вы? Как ваши дела?

— Две части триптиха написаны. Занят режиссерской разработкой. Ищу актеров. Монтирую кинодокументы, которые будут прославлять сюжет. Живу только «Трибуналом». Раньше такого со мной не случалось. Толстой это называл энергией заблуждения. Мне кажется, что я могу спасти... Не знаю... Наверное, спасти только себя... Но может быть... Меня изнуряет, душит сознание, что шайка самых богатых и самых безумных, слепых, алчных, просвещенных, диких убийц хочет и может уничтожить жизнь на земле. Я жажду их судить. Понимаете? Судить за то, что они отняли у миллионов людей покой и радость, уверенность в завтрашнем дне, посеяли постоянную тревогу и ужас — за детей и близких, подточили веру в осмысленность бытия. Я надеюсь, даже уверен, когда люди увидят мой фильм, в особенности на Западе, они испытают то же самое чувство.

— Я была права, — сказала Надя. — Вы решили спасти мир. Не сердитесь, шучу.

...Когда мы возвратились в домик Поливановых, Анна Николаевна расставляла по местам стулья, глядела на сестру с тревогой.

Надя ходила из угла в угол, обхватив руками плечи, говорила, что в Международном институте человека у нее будет возможность поставить новые эксперименты по теме, завещанной Свербловым, более глубоко связать ее с проблемой совместимости, проследить тонкие связи между социальным и наследственным.

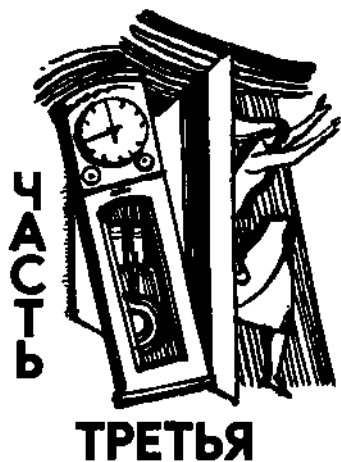
— Разве не в самой осмысленной деятельности человека заключена его награда? — спросил я.

— В чем вы хотите меня убедить? — кинула Надя.

Я не мог объяснить. Мешала обида, заговор горьких недосказанностей.

После обеда Надя поблагодарила за то, что я приехал. Сестра Анна уговаривала остаться. Надя не настаивала, молчала. Мне хотелось закричать, быть правдивым до конца. Но мы простились сухо.

Возле машины в теплом пыльном ветре мне пожала руку чужая женщина, занятая своими отвлеченными идеями. Я не подозревал, до какой степени ошибался, как был слеп!..



Я направлялся в корпункт тихими бухарестскими улочками, где обитали когда-то аристократы и богатые дельцы. За чугунными решетками зеленели газоны. Уютные особнячки неогрек и модерни были увиты осенними плющом и диким виноградом.

Я вышел на маленькую площадь, посреди которой скакал чугунный всадник в шляпе с плюмажем, и в моей памяти замелькали все бухарестские конные статуи, словно примчавшиеся с полей давней идиллической войны. Я шагал и думал о своем реферате, который мне предстояло прочесть на Солнечном Берегу. Сумею ли я выразить мысль, что искусство обязано помочь современному человеку найти моральную опору перед лицом смертельной опасности? Я вспомнил с горечью о Наде и о том, что она уже работает вместе со Снежко в Международном институте человека где-то на юге Болгарии, за Бургасом. При желании я,

вероятно, смогу ее повидать. Но что принесет эта встреча ей и мне?

Я остановился перед подъездом амширного особняка и нажал плоскую медную кнопку — звонок запел. Дверь открыл мне полный человек, с короткой шеей и лицом Оноре де Бальзака. Он был в куртке из верблюжьей шерсти.

— Заходи. Рад тебя видеть, — обнял он меня за плечи, домовито покашливая. — У нас события. Давай сюда твой плащ. И познакомься. Это моя жена.

По деревянной лестнице спустилась стройная женщина с нервными пальцами, пожелтевшими от никотина. Здороваясь со мной, она тряхнула коротко остриженными жесткими волосами и улыбнулась.

— Действительно... у нас событие. Но об этом после. Сперва спокойно пообедаем. — Она взяла мужа под руку и спросила: — Я думаю, здесь, внизу?

— Конечно.

Когда-то волею случая мы с ним работали в одной газете.

— Вот здесь за перегородкой моя контора, мой офис, короче говоря, корпункт. А тут столовая... Будем мыть руки?

Когда мы сели за стол, Бальзак, он же Михаил Веселовский, сказал:

— Ты даже не представляешь, старик, что я тебе имею сообщить.

— После обеда, — бросила жена, разливая суп. — Сперва вы обязаны оценить мою стряпню и рассказать московские новости.

Прислуги у них не было, и мне дали понять, что «события» с этим как-то связаны. Веселовский ел много, многозначительно поглядывая на жену.

— Заинтриговал я тебя, старик? — спрашивал он, запивая жаркое красным вином.

— После, после, — строго повторила жена. — Наш гость

еще ничего не рассказал о себе и «Цезаре и его посетителях».

Новостей хватило до конца обеда, который, разумеется, я похвалил.

— У нас тоже был посетитель, — поднимаясь из-за стола и вытирая бумажной салфеткой губы, сказал Веселовский. — Кофе будем пить наверху. — Он снова обнял меня за плечи и повел по деревянной лестнице на второй этаж.

На площадке чуть призадержался, и я увидел дыру в стене и куски отбитого бетона на клетчатом пластиковом полу. Веселовский поднял толстый указательный палец и произнес:

— Вот именно!

В кабинете он усадил меня в обширное кресло, посмеиваясь подал коробку с фирменными наклейками.

— Сигару?.. Не куришь? Молодец. Но вдохни аромат, вдохни. Волшебство!

— Ну что ты угощаешь гостя этой дрянью? — поставила жена на журнальный столик поднос с кофейником и маленькими чашечками.

— Кофе, старик, ликер? Что? Ликер нет? Завожу тебя, старик, а? А ты будь здоров. — Он опустился напротив меня в кресло. — Держись.

— Ты обещал опеломить. Я терпеливо жду.

Жена села на стул черного дерева с высокой спинкой, закинула ногу на ногу, щелкнула маленькой, обшитой бисером зажигалкой, закурила сигарету.

— События у нас не такие уж веселые, — сказала она.

— Вот именно, — подтвердил муж. — Но для тебя... именно для тебя любопытные.

И я услышал историю о следах на лестнице.

Однажды супруги поодно вернулись из театра, зажгли свет и увидели на деревянных ступенях отпечатки босых ног. Они не держали домработницы, ключей никому не оставляли.

Кто, как и с какой целью проник в их дом? Жене пришла в голову простейшая версия: на лестнице следы ее собственного мужа. Она заставила его разуться, спуститься вниз и снова подняться. «Ну, конечно!» — воскликнула она, сличая следы.

Среди ночи муж проснулся и сказал: «Но я никогда не ходил по лестнице босиком».

Прошло несколько дней, инцидент забылся. Как-то супруги вернулись с приема в нашем посольстве и опять обнаружили на лестнице отпечатки больших ног. И странное дело — следы обрывались на площадке.

Почему на площадке и зачем неизвестный снимал обувь? Супруги долго не могли уснуть, а утром решили позвонить в уголовное бюро. Над домом был установлен надзор, и через несколько суток злоумышленника схватили.

Он оказался бывшим хозяином особняка, тайно, с чужими документами перешедшим границу. Отперев входную дверь своими ключами, он поднялся с инструментом на площадку и начал долбить дыру в стене, где был замурован железный сейф с валютой и драгоценностями. И в этот момент был арестован.

Его спросили: почему поднимался по лестнице босиком? «Чтобы запутать, навести на ложные предположения».

При обыске у него обнаружили оружие и какие-то зашифрованные схемы. На допросе он заявил, что является членом технического совета компании по производству химических продуктов, заводы которой расположены в Европе и Африке. Его показания проверили, и они подтвердились. Однако расшифровать схемы он отказался, сославшись на то, что они являются секретом фирмы.

— Вот все, что мне известно о нашем ночном посетителе, — довольный произведенным на меня впечатлением, сказал Веселовский. — Не исключено, что эта компания производит в Средиземноморье какие-нибудь военные пакости. А ты что думаешь? У тебя есть версия?

— Нет,—ответил я.— Но могут возникнуть. Вполне вероятно, что это история пригодится мне для фильма.

Я не знал еще, что эта история окажет влияние на мою судьбу, а не только на сюжет «Трибунала».

По дороге на Солнечный Берег я остановился на один день в Софии.

Развалины римских терм и болгарская церковь VII века вписаны в каменный прямоугольник двора отеля «Балкан». Среди обломков колонн фотографы снимают девушку в распахнутом красном плаще для журнала мод. Ночью тысячью окон и бессонным люминесцентным светом фонарей глядит новый мир в прошлое. Я опять думаю о ненавистной мне власти случая, о Наде и Рите...

Балканские горы, долина роз, дорога на юг, могилы древних фракийцев, а над ними обелиски в память советских солдат, павших за освобождение Болгарии. Я думаю о Наде и Викторе...

Синие, желтые и лиловые рощи сбегают с гор. Час отдохновения в грязноватой деревенской корчме, где играет колхозное джазовое трио, получающее за это трудодни, где кафельный туалет с чистой ледяной водой. За окнами корчмы виден маленький стадион, скамьи которого прикрыты от солнца лозами винограда.

Я бросаю в рот янтарные «пальчики», смотрю, как играют дети в футбол, и опять вспоминаю Виктора; он мог бы быть моим сыном. К винокуренной избе тянутся подводы с черным и светлым виноградом, чтобы опрокинуть его в давящие машины. Сок потечет в резервуары между станами и потолком — там спит, созревая, вино.

Час отдохновения, пронизанный летучей болью и мыслью, что память убивает радость. Неужели навсегда?..

Вдоль побережья от Варны до Золотых песков тянется белый город гостиниц и санаториев, а южнее, вблизи ста-

рого Несебыра, расположенного на маленьком полуострове, поднялся на Солнечном Берегу новый курорт с высотными башнями и плоскими современными домиками, разбросанными между дюнами, соснами и газонами, на зелени которых темнеют высокие коричневые амфоры.

Я стою посреди пустынного в этот рассветный час холодного пляжа и смотрю на серое отрешенное море. Быть может, и Надя там, южнее, за Бургасом глядит сейчас на эту предчувствующую осень пустыню воды, и лицо ее и душа среди уносящегося времени больше не страдают, помертвев навсегда.

От двух часов ночи до восьми утра лифт в отеле не работает. Я поднимаюсь пешком на девятый этаж в свой тесный синенький номер, где лежит еще не распакованный чемодан, и, повалившись на тахту, включаю транзистор. Болгарский диктор читает последние известия. В конце сообщает, что Венеции грозит смертельная опасность — если не будут приняты срочные меры, она опустится скоро в море. Я не все понимаю по-болгарски, но слова «Венеция», «катастрофа», «море» до меня доходят — об остальном догадываюсь.

На меня надвинулась зыбкая стена не то пламени, не то воды, и в ней я вижу лицо Виктора, и мучительно сознаю, что ничем не могу ему помочь — лицо оплывает розовой чешуей.

В маленьком музее, пахнущем пчелиным медом, мы смотрим с Виктором на золотисто-розовую Данаю, на кентавра с бородатым страдальческим лицом, склонившегося к коленям женщины, на морщинистую старуху с лентами в седых волосах. «Мать никогда не будет такой!» — кричит Виктор среди бушующего пламени.

С грохотом обваливаются сверху потоки темной воды. И меня куда-то несет. Видение заворачивается в венециан-

ский плащ. Ураган гонит по каналу Гранде горящие черные пустые гондолы, швыряет их об стены затонувших палаццо. Каменная позеленевшая Мадонна Гондольеров с лицом Нади склонилась над Виктором. Хлопая на ветру, свисает с колокольни белая простыня — город сдается отчаянию. Пребывающая аспидная кипящая вода поглощает горящие гондолы.

Мы всплываем с Виктором в затопленный храм, где повисли наверху, на краю тверди, в смертельной схватке огромные Тициановы Каин и Авель. «Кто они? И почему хотят убить?» — восклицает Виктор. «Братья, — отвечаю я, — Каин земледелец, Авель пастырь овец. Они жертвы богов, которых мы будем судить».

Полусон, полуявь пронзает стрела зари. Я открываю глаза. Вскakiваю, иду к окну. Розовая стрела пересекает пустыню моря.

Надо распаковать вещи. Я вынимаю из чемодана текст своего реферата, пижаму, рубашку, распахиваю платяной шкаф и обнаруживаю в нем грудку маленьких флажков на пластмассовых подставках — флажки наций, которые ставят на столиках в ресторане, дабы странствующий вкушал пищу в единении со своими соотечественниками. Я звоню камерерке, то есть горничной.

Вместо нее входит сонный мальчик в помятой красной форменной курточке с золотыми пуговицами и погончиками. Я ему показываю на флажки, он объясняет мне по-болгарски, что все номера заняты, меня устроили в подсобном помещении камерерки. Потом он достает из шкафа запасную наволочку, сгружает в нее игрушечные символы наций и удаляется, а я выхожу на балкон, где пахнет цветами и морем.

Сделав зарядку, я принял душ, побрился и натер щеки пощипывающим, прохладно-терпким лосьоном с твердым намерением провести безмятежный день.

Симпозиум начинается завтра, нынче же по программе

для участников кинонедели пикник. Едва я натянул синие бумажные брюки и легкий свитер, как в дверь постучали и вестниками беспечного утра ввалились в мой номер болгарские друзья — черноглазая, маленькая и воинственная Мария Каларова, кинорежиссер, одна из руководящих особ Болгарского союза кинодеятелей, в прошлом знаменитая гимнастка, начавшая работу в кино бесстрашными трюками, прыжками из горящих окон и конными подсечками — в качестве каскадерки.

«Брутальная дева Мария», как ее называли, разумеется, оттеснила на задний план двух своих спутников, сжала крошечной железной ладошкой мою руку и заявила:

— Прежде всего — рада тебя приветствовать, во-вторых, условимся: после твоего реферата показываем «Цезаря и его посетителей». Помолчи. Все согласовано. Картину уже привезли.

— Но это не слишком, я бы сказал, разумно и тактично. Утром читаю реферат...

— Утром ты учитель жизни, — перебила меня Каларова, — а вечером мальчик для битья. Очень, по-моему, демократично. — Она захохотала басом и ткнула меня железным пальчиком в бок. — И, пожалуйста, не возражай. Красновидов согласен, и все утверждено.

— Но это мой фильм, а не Красновидова, — возразил я.

— А Красновидов руководитель вашей делегации. И, кстати, высокого мнения о твоём «Цезаре», убежден, что он хорошо дополнит некоторые моменты твоего сообщения.

— Я категорически против.

Каларова прыгнула и повисла у меня на шее. Я зашатался, а Мария, опять захохотав басом, звонко поцеловала меня в переносицу.

— Он согласен, — обернулась она к своим спутникам. — И обними меня, как храбрый мужчина, в знак примирения.

Я рассмеялся и опустил ее на пол.

— Здравствуй, Маша, ты не меняешься. И, вероятно, слава богу.

— Друг, улыбайся,— вытянув вперед руку, шагнул ко мне Янко Ивков, неунывающий полноватый красавец.— Улыбайся!

Янко заглянул мне в лицо и нахмурился:

— Не годится. Улыбка неискренна. А перед тобой «Служба улыбки». Еще раз улыбайся. Внизу уже готовится скара разна — замечательные кусочки мяса и почек на раскаленной железной решетке!..

— Такая же скара,— оживился я,— как в «Славянской беседе» в Софии, куда ты меня водил?

Кажется, действительно день обещал быть безмятежным.

— Улыбайся. «Служба улыбки» — это даже важнее и серьезнее, чем «Здравствуй, хелло!».

— А что такое «Здравствуй, хелло»? — поинтересовался я.

Каларова вышла на балкон и произнесла:

— В мир возвращается тепло. Будет дивный нежный день. Какие-то идиоты уже купаются.

— Здравствуй, хелло! — перегнулся через перила Янко Ивков: — Улыбайтесь! Улыбайтесь!.. — потом обернулся и пояснил: — Двадцать первого ноября исполняется первая годовщина «Хелло дей». В этот день мужчины и женщины во всем мире говорят свое дружеское «здравствуйте» совершенно незнакомым людям. Так, так... И вместо того чтобы наступать друг другу на ноги, игнорировать, враждовать или воевать, каждый говорит: «Здравствуйте». И пусть напоминает это людям уходящие в прошлое деревеньки и городишки, где каждый знает каждого: «Здравствуйте!» — любому доступное приглашение к дружелюбию.

Янко вернулся в комнату и уселся напротив меня.

— Как видишь, и среди американцев есть разумные ребята. Международный день «Здравствуй, хелло» придумал студент из Гарварда, и это многим показалось симпатичным. Ваша «Комсомолка» тоже поддержала американского парня. А я решил поставить фильм «Служба улыбки». Нет, постой, а почему ты не улыбаешься?!

Я не выдержал и расхохотался.

— А ты что застыл в дверях? — обратился Янко к Стефану Стефанову. — В чем дело?

— Я улыбаюсь, — тихо отозвался Стефан и порозовел от смущения. Он был похож на отрока Иоанна Крестителя с картины Мурильо и одновременно на его барашка. Серые добрые глаза молодого болгарина кротко глядели из-под выходящих колечками волос. Но я-то знал — внешность Стефана обманчива: крестьянский сын с изысканной душой поэта-искателя обладал жестким, неуступчивым характером, своевольным, бескомпромиссным умом и поэтому не имел успеха в качестве сценариста. Мы с ним знакомы были еще по Москве, где он учился, а я рецензировал его дипломный сценарий. — Здравствуйте, хелло! — сказал он и снова покраснел¹.

— Пошли, друзья, вниз, — заторопился Янко Ивков. — Скара уже дымится. Мария! — Янко подхватил меня и Каларову под руки. — Стефан, пошли.

В лифте Янко продолжал развивать свою идею «Службы улыбки»:

— Конечно, я использую габровские фестивали юмора, но это только для орнамента — мои намерения серьезней. Чему ты улыбаешься? А впрочем, ваяя, это хорошо, одобряю.

В вестибюле нам встретился мальчик-грум в красной курточке, и я ему сказал: «Здравствуй, хелло».

¹ Автор просит читателей не искать прототипов — ни в этой сцене, ни в других частях повествования.

— Здравствуй, — поклонился мальчик. — Ты шпион?

— Это почему же? — приостановился я.

— Говоришь как американец. А копчата у тебя на рубашке оторвалась.

— Что такое копчата? — обернулся я к Янко.

— Пуговица.

Мальчик еще что-то сказал мне по-болгарски.

— Потом он тебе пришьет, — пояснила Мария.

— Стой, стой! — окликнул я маленького нахала, кинувшегося к лифту. Но он нырнул в кабину, и дверь закрылась.

Мы прошли через зал ресторана с коричневыми креслами, золотисто-желтыми скатертями и красными свечами и расположились в пустоватом кафе, где все было белым и голубым — стулья, столы и занавеси. У окна сидели два молодых, чуть чопорных и молчаливых кинематографиста из ГДР. У одного из них вместо руки был протез. Я поклонился. Немцы встали. Я знал их историю. Один был антифашист и воевал на нашей стороне — на передовой в мегафон уговаривал соплеменников кончать войну. А второй его слушал и громко проклинал, сидя в траншее перед последним водным рубежом — рекой Одером. В Берлине первый взял второго в плен, и они выяснили, что давно знают голоса друг друга. Теперь оба занимались теорией кино.

— Улыбайтесь! — крикнул им по-немецки Янко, и немцы улыбнулись, любезно наклонив головы.

Официанты прикатали скару разну на никелевой тележке и стали раскладывать душистое жаркое по тарелкам. Я пил болгарский кефир, вернее сказать, кислое молоко, и слушал Янко:

— Ты хочешь рассердиться? Улыбнись. Охота заплакать? Улыбнись. Тебя одолевают подозрения и ревнивая ненависть? Улыбнись. Сжигает зависть? Улыбнись. Мучает зубная боль или мировая тоска? Улыбнись. Улыбка помогает понять относительность вещей. Улыбнись, вместо того чтобы

ударить, вместо того чтобы убить. Да, да, я ничего не преувеличиваю. Нужна культура эмоций, культура борьбы в битве жизни. На всех уровнях. Даже на мировом. — Он закашлялся, уставившись на портативный диктофон, который я уже давно вытащил из кармана и включил. — Что это такое?

— Специально захватил с собой, — невинно ответил я, — чтобы записывать ценные мысли друзей и коллег. И твои также.

— Валяй, — кинул Янко. — Ты что думаешь о моем фильме? Тебя посетила схожая идея? Не разочаровывай меня. А как скара?

— Волшебна. Здравствуй, хелло!

— Здравствуй.

Длинный волшебный день, теплый и солнечный. Вернулось лето. Снова пахло морем и хвоей. Мы катались на водяных велосипедах и совсем не говорили об искусстве. Возникшее еще в Бухаресте предчувствие надвигающихся испытаний растворилось в безмятежном дне и долгих сумерках.

Пикник устроили неподалеку от отеля, в маленькой роще вблизи берега моря. На траве среди высоких амфор накрыты столы, на них стоит вино в плетеных бутылках, стоят большие свечи. Чуть колеблется в лиловатом сумраке желтые огни.

Из-за деревьев выплыл Красновидов. Одной рукой мой знаменитый коллега обнимал хрупкую вьетнамскую киноактрису Туанг-Хонг, а другой рослую африканку Ванессу Дило, частую гостью московских международных фестивалей. Красновидов и его дамы самозабвенно пели «Широка страна моя родная». Я поздоровался. Каларова расцеловала женщин. Они были великолепны, в особенности Ванесса в ярком гран-бубу, длинном прямоугольном африканском

платье с прорезями для рук, и в тюрбане из красно-черной материи. Красновидов снял берет и провел крупной узловой рукой по лысому черепу.

— Все прекрасно? — подмигнул он мне. — Оценил мудрость нашего решения. — Он отвел меня в сторону. — Показ «Цезаря» во время дискуссии подчеркнет, что мы не только теоретизируем, но и практически ищем новые, углубленные подходы к антифашистской теме.

— Было бы прилично, — заметил я, — сперва узнать мое мнение.

— Старик, дам совет, — растянул жесткие губы Красновидов. — Не ссорься с крокодилом, пока не переплыл реку. Эту африканскую пословицу, как я только что выяснил, любил повторять дядя Ванессы, президент ее страны. — А крокодил... — он захихикал, — я!.. Какой-то великий микробиолог согревал на груди пробирки с посевом тифа. А кто может утверждать, что делать серьезные фильмы менее опасно и не требует мужества? То-то же!

Красновидов вернулся к Туанг-Хонг и Ванессе, обнял дам за плечи, и они снова запели, продолжая свой путь.

Я же твердо решил сегодня не огорчаться и скоро уже лежал на траве в молодой мужской компании братьев кинематографистов из Румынии, Польши, ГДР, Венгрии, Чехословакии, Вьетнама, Кубы, Югославии, Лаоса. Были здесь и Янко со Стефаном и два маленьких улыбающихся фарфоровых гостя из Японии, одна девица — будущая ответственная сотрудница «Балкантурист», пока что проходящая практику на кухне нашего отеля. В маленькой белой пилотке она бойко болтала на разных языках и все время смеялась, колотя по траве длинными худыми ножками подростка. Внимание со стороны Янко ей явно было лестно.

— Женщина, созданная для «Службы улыбки»! — восхищенно повторял Янко.

Над нами большая оранжевая луна, на столах теплятся свечи, доносится плеск моря, и все испытывают подъем, во-

одушевленные интернациональным товариществом, смехом Миленки, музыкой, разноязычной речью.

Я запрокинул голову и увидел за колеблющимися на ветру желтыми огнями свечей высокую женщину с маленьким бледным лицом и зелеными замершими глазами. Она смотрела в мою сторону. Рита?!.. Разумеется, я тотчас отбросил эту фантастическую мысль. Но сходство было поразительным, и вызвало во мне смутное чувство тревоги. Женщина мелькнула между деревьями и еще раз издали поглядела на меня. Ошибка или власть случая? Рита!.. Рита?.. Нет!.. Я поднялся и пошел к берегу. Миновав площадку для танцев, увидел: там, где только что стояла женщина, Янко плясал с Миленкой. Власть случая, подтачивающая веру в свободную волю и разумный выбор, показалась призрачной и неопасной — несомненно, я ошибся.

Симпозиум с его так называемой свободной трибуной открылся на следующий день в белом кинозале отеля, где мы жили. Перед экраном, задернутым розовым занавесом, за овальным столом с двумя микрофонами расположились участники предстоящей дискуссии. В маленьких кабинах с окошечками — переводчики. Основные рефераты должны синхронно переводиться на четыре рабочих языка — болгарский, французский, немецкий и русский — по заранее отпечатанным текстам. Все кресла на возвышении, и в первых десяти рядах для делегатов и журналистов снабжены крошечными пластмассовыми раковинами мембран. Задние места оставлены для публики — вход в зал свободный.

Свой реферат, в котором уже ничего нельзя изменить, я должен читать первым. Я нервничаю, оглядываюсь по сторонам. Мне ободряюще подмигивает Янко Ивков. Старый чех Форберт, мрачно сложив на груди длинные руки, бросает: «Мужайся, худшее впереди». Немцы уступают дорогу Марии Каларовой. Она подходит к вынесенному на просцениум

микрофону, храбро поднимает маленькую руку и произносит небольшое вступительное слово. Представляя каждого из нас и перечисляя наши доблести и заслуги, она острит — пафос перемешивается с юмором, и я успокаиваюсь. Потом энергичная Каларова возвращается на председательское место и предоставляет мне слово. Я выхожу вперед, вынимаю из кармана текст, щелкаю пальцем по микрофону и начинаю читать.

— На глазах одного поколения киноискусство родилось дважды: сперва как немое, затем как звуковое. Третье рождение едва его не прикончило — я имею в виду телевидение. Великое будущее фильма предчувствовали многие. И не только Горький, Толстой или Теодор Драйзер, мысли которых о кино широко известны. Но и такой писатель, как Леонид Андреев. Еще в 1911 году он размышлял весьма дальновидно: «Кино воистину становится гением интернационального общения, сближает концы земли и края душ». И еще: «Нет предела для авторской воли, творящей действие, обогатилось воображение — и вот нарождаются какие-то кинемо-драматурги, еще неведомые таланты и гении». Сама природа кинематографа предполагает слияние его языка и форм с материалом современности, современными проблемами, современными ритмами жизни...

(Хочется поделиться новыми мыслями, возникшими в связи с «Трибуналом», но связывает печатный текст, и я продолжаю.)

— Современность — это то, чем живет сегодня общество, что волнует всех людей, что помогает им разобраться в сложном мире и найти свое место в борьбе за лучшую жизнь...

(Читаю и вижу: в последнем ряду садится Рита!.. Она пришла с Беном, похожим на пожилого ковбоя, и его женой. Я больше не сомневаюсь: это она, Рита! Текст двоится у меня перед глазами. Я слышу наступившую тишину. Но не имею права молчать...)

— Всякий честный художник понимает: капитализм

списходителей к эгоизму зверя, коммунизм требователен к человеку. Поэтому вновь и вновь встает вечный вопрос о назначении человека на земле, о смысле жизни и счастья. Либо счастье в том, чтобы сделать мир лучше, либо в том, чтобы взять от мира лучшее.

(Я смотрю на Риту. Она кашляет, прижав к губам платок. Ее высокий лоб в розовых^х пятнах.)

— Искусство не зеркало, а увеличительное стекло. Но что укрупняют его линзы?..

(Она уходит... Рита или ее двойник...)

...— Сюжеты «малого добра» в мире, которому угрожает «большое зло»...

(Кажется, качнулась люстра под потолком и зазвенели подвески?)

— Единство и неделимость мира требует...

(Я почувствовал ватную неустойчивость в коленях. Люди в зале озирались. Все светильники под потолком раскачивались. Я знал, что это значит... Место Риты было пусто...)

Никакой паники не возникло, и после перерыва показали два хороших фильма — польский и румынский. Второй я видел еще в Бухаресте.

Я вышел из зала и, быстро пообедав, отправился на машине «Балкантуриста» в Несебыр, где гостил у друзей советский консул. Я был знаком с ним еще в ту пору, когда он учился в Москве. Это был мужчина атлетического сложения, с рыжим бобриком и неизменной полуулыбкой на красном лице. Наши отношения позволяли мне задать ему вопрос личного характера. Я хотел знать: могу ли повидать Надю?

— Ну, разумеется, но лучше не сейчас, чуть позже, когда определится ситуация.

Я понял, что он имеет в виду.

— Землетрясение по ту сторону границы?

— Молодец, сразу сообразил, — сказал консул. — Но пока никаких серьезных оснований для беспокойства. В районе Института человека толчок в пять баллов. Жертв и разрушений никаких. Однако... не исключено, что сотрудников временно эвакуируют... Если неблагоприятный сейсмический прогноз подтвердится. — Он привычно растянул губы.

Мы шли по берегу, за нами теснились кривые улочки. Рыжеволосый консул глядел на низкие тучи.

Мы простились на узком пустынном перешейке между островком и пляжами Солнечного Берега. Я был встревожен и забыл рассказать консулу о Рите.

Вернувшись в отель, понял, что слухи о землетрясении и каком-то желтом облаке уже достигли нашего стеклянного караван-сарая и взбудоражили его обитателей.

Кроме участников кинонедели в гостинице жили туристы из ГДР и ФРГ, Швеции, Венгрии, Чехословакии, Швейцарии, то есть тех стран, где море холодное или вообще его нет. Вечером пришли иностранные газеты с жирными заголовками и черными стрелами, указывающими на районы Средиземноморья за пределами Болгарии.

На следующее утро пожилые шведские дамы не вышли к завтраку и нервно вязали свои шапочки и свитеры в холле. Спустившись в кафе, я оказался за столиком один. Мои коллеги, видимо, уже смотрели вниз в кинозале «Цезаря и его посетителей». Накануне мы условились с Красновидовым, что он представит картину, а я приду к концу.

Немногочисленные посетители кафе ели молча, не глядя друг на друга. Только позвякивали ножи, ложечки и блюда с неизменным джемом. Официанты в голубых тужурках тихо переговаривались возле длинной белой лакированной стойки, на которой сгрудились пестрой толпой флажки на пластиковых подставках. Возможно, это были те самые флажки, что я нашел у себя в шкафу и передал маленькому груму.

Ровно в одиннадцать я должен был звонить консулу —

у него могли оказаться для меня новости. Сейчас было без пяти. Я расплатился с официантом и спустился в кинозал. Сев в последнем ряду, заставил себя сосредоточиться на мелькающих кадрах, которые год назад были для меня всей жизнью и потребовали стольких усилий, нервов и воли. Сейчас они меня только настораживали. Я жил новой работой — судом над виновниками мировой угрозы.

Как правило, я не ходил в кино на свои картины — слишком мучительна была дистанция между задуманным и осуществленным. Еще более тяготился просмотрами в профессиональной аудитории. Я боялся своего очередного беззащитного творения, и похвалы меня не примиряли с ним, а только удивляли. Сейчас мне было интересно одно: совпадет ли сюжет «Цезаря» с настроением зала? Я посмотрел на часы — ровно одиннадцать. Я поднялся, и в этот момент зажегся свет, и раздались не слишком дружные аплодисменты. Когда я выходил из зала, старый чешский режиссер Форберт от меня отвернулся. Ну, что ж, я так и думал, — сложная форма картины, вероятно, заслонила человечность. «Я сейчас вернусь», — крикнул я Красновидову. Кто-то поцеловал меня в щеку. Это была маленькая бурная Мария Каларова. «Здорово! Не вешай нос». Я только махнул рукой и поднялся по лестнице в холл. Меня качнуло, я поглядел на потолок. Люстры были неподвижны.

Я подошел к конторке портье и быстро набрал номер. Телефон консула не ответил. Я снова позвонил — продолжительные длинные гудки, трубку не сняли. Я вернулся в зал. На возвышении перед микрофоном одиноко стоял длинный морщинистый ковбой Бен и тихо кидал короткие английские фразы с ужасным произношением в нос. Он говорил, что «Посетители Цезаря» — реальность, сломавшая его жизнь. Бену было немного больше двадцати, когда комиссия по расследованию антиамериканской деятельности выбросила его из Голливуда и едва не уперла за решетку. Он уехал в Африку. Перебравшись позже в Европу, под чужой

семилетней для знакомого нью-йоркского продюсера написал сценарий «Мост через жемчужную реку». Фильм имел колоссальный успех, получил всевозможные почетные премии и несколько Оскаров, в том числе за сценарий. Продюсер разбогател, Бен остался нищим. Но когда утихли страсти маккартизма, друзья рассказали правду об авторстве Бена, и госдепартамент предложил ему вернуться в США. Бен отказался. Он жил теперь в Будапеште, встретил здесь Жужу, и они поженились, хотя обоим было за шестьдесят. Они вместе делали документальные политические фильмы, бросая вызов старым врагам (во время войны Жужа едва не погибла в Дахау). К концу жизни Бен нашел не только счастье, но и получил возможность открыто противостоять черным страдам войны и ненависти. Я подумал: а что связывает его и Жужу с Ритой? Почему они вчера пришли вместе и вели себя как добрые друзья?

После Бена выступал Ахмад Вали, режиссер из Индии. Он был членом Всемирного Совета Мира, общественным деятелем и пропагандистом социалистического кино. И тоже говорил об опасности, нависшей над человечеством, а потом не без юмора рассказал о трудностях, с которыми приходится ему сталкиваться при постановке своих фильмов. Для последней картины он получил деньги в банке только под имя и обязательство сниматься знаменитой певицы и танцовщицы Иргис, с которой в детстве вместе обучался ремеслу у булочника.

Мне удалось дозвониться консулу только к вечеру. Он сказал, что сотрудники Международного института человека будут все же временно эвакуированы. Южнее Сезополя, где расположен институт, ощущались сильные толчки. Что же касается токсического облака, то оно оказалось мифом, драматизированным средствами информации.

Я отправился к морю и долго в сумерках бродил один

по опустевшему пляжу, думая о том, что скоро увижу Надю. Странные сложились у нас отношения. И почему я втайне убежден, что у нас есть будущее?

Я заставляю себя вспомнить вечернюю дискуссию, сердитую речь Форберта, короткое слово Стефанова, задумчивого барашка.

— Только мы можем ответить, — говорил он, кротко улыбаясь, — ответить без лжи и страха — для чего жизнь, усилия каждого дня, тревоги деторождения, творчества. У наших противников нет никакой идеи, кроме проповеди гедонизма. Да, жизнь дана человеку для наслаждения. Весь вопрос только в том, что под этим понимать. Для одного наслаждение — власть над собой, для другого — власть над другими. Для одного — отделиться от зверя, утвердить в себе человека, для другого — растоптать человечность в насилии над женщиной, ребенком, народами. Об этом говорит фильм «Цезарь и его посетители». Но говорит, слишком многое передоверяя символике и марионеткам.

Барашек глядел на меня твердо.

В баре пресс-центра я сажусь у стойки, чтобы записать мысли, пришедшие в голову в связи с выступлением Стефанова. Рядом со мной пьют джин с тоником волосатые вельветовые щенки из западной кинопрессы. Поистине их жизнь полна наслаждений — так легко и заманчиво чувствовать себя судьями наших творений.

Прислушиваюсь к их болтовне... Они всерьез напуганы сообщениями о новом землетрясении. Худая девица в больших очках с перекатывающейся под майкой грудью — лифчиков теперь не носят — вспоминает свою прошлогоднюю поездку в Грецию:

— Так стукнуло, чуть Парфенон не повалился. Зашевелились подземные пласты где-то под Коринфом. В Афинах переполошились. А потом привыкли. Человек ко всему привыкает. Плюньте, ребята, лучше выпьем.

Они выпили, а я стал записывать в блокноте: «Как вы-

разить в «Трибунале» волю разумного человека среди охватившего мир безумия?»

Щенки напились и громогласно поносят моего «Цезаря» — слава богу, они не знают автора в лицо. Меня слегка подташнивает. Может быть, нас опять потрянуло? С черного потолка из круглых отверстий сочится свет. Увы, здесь нет чутких позванивающих люстр, предупреждающих, что магма снова зашевелилась где-то в глубинах земли. Я сползаю с высокого табурета и вхожу в гомон зала. Меня хватает за руку Форберг, усаживает рядом с собой.

— Что говорил апостол Павел? — придвигается ко мне насмешливый чех. От его седой клочковатой бороды пророка, занявшегося разбоем, несет чесноком, пивом и кофе. — Во мне есть человек внутренних, который хочет соблюдать закон, а в членах моих живет грех, который... нарушитель этого закона!.. В человеке все пакости мира, в человеке!.. Безжалостная скотина человек! Ты не согласен? Докажи! Был я неделю назад в Париже... В сквере напротив Комеди Франсез сидит на деревянном стуле старуха, голова на грудь упала, ветер жалкие волосы треплет. Весь день, не двигаясь, сидит, ночь... А наутро сторож тронул — за стул платить полагается — оказывается, умерла еще вчера... Стали выяснять, кто такая... Актриса! В немом кино снималась, была знаменитость, — Форберг отхлебнул из кружки пива, восклицает: — Старое кино! Романтическое время, когда фильмы заменяли людям наркотики... и женщины были женщинами!.. Сам видел после войны в американском секторе Берлина, как стояла на сцене «голубой ангел» — Марлен Дитрих, а перед нею очередь союзных вояк с пилотками, заправленными под погончик... Каждый подходит, кладет в шляпу доллары, шиллинги или оккупационные марки и прикасается легонько к ногам Марлен. Потрогает и отходит — и все тихо, торжественно, как в церкви. А сбор в пользу калек... А сюжеты... Какие были сюжеты в кино!

За соседним столиком обсуждают ленты, показанные на

неделе. Хвалят фильм Форберта «Ретро», спорят о политическом кино, о моем «Цезаре», а я думаю, как отвечу в «Трибунале» Форберту и всем, кто полагает, что скотиной человека делает изначальный природный грех.

— Кто теперь оценит, кроме меня, милый старомодный наркотический сюжет!.. — ворчит Форберт. — Кино на Западе превратили в злобную газету... в бордель! А у нас — в манную кашу с кровью!

Мимо проталкиваются ценки из прессы со своей дамой. Я оборачиваюсь — за соседним столиком спиной ко мне сидит Рита рядом с Беном и Жужей. Меня тяготит это соседство. «Прочь, прочь отсюда!» — думаю, но не трогаюсь с места. Глядя вслед девице в майке, Форберт сердито почесывает свою седую бороду.

— Как стали одеваться бабы?! Почему мир опрощается? И красота выглядит почти неприлично? Что случилось? Ну ладно, капиталист заискивает перед демосом и своими детьми, одевается хуже своего клерка, отрачивает патлы, как бродяжка. Жена его носит мятые джинсы, а ее бриллианты в сейфах под водой стерегут акулы — черт с ними... Но в наших-то странах!..

Рита обернулась и поглядела на меня, словно о чем-то спрашивая.

Затем она что-то шепнула Жуже. И та мне крикнула:

— Идите сюда. С вами хочет познакомиться интересная женщина.

— Мы беседуем, — ответил я, — и как раз о дамах.

— Моя приятельница хочет потанцевать.

— Я не танцую.

— Улыбайтесь! — появился Янко Ивков в обществе великоколенной Ванессы, скромной Туанг-Хонг и барашка Стефана и стал сдвигать столы. — Здравствуйте, хелло! Давайте объединимся. Располагаю интересными сведениями.

Опрокинута салатница, пролито на скатерть вино, рядом с Форбертом оказалась темнолицая Ванесса, а меня схватила

за руку Жужа и усадила между собой и Ритой, которая стряхивала с колен пепел.

Я молчал, чувствуя плечом ее плечо, был спокоен, решил, что через минуту поднимусь и уйду.

— Ты ни о чем не хочешь меня спросить? — тихо произнесла Рита.

— Нет. — Я поднял руку, приветствуя Красновидова, пробирающегося между столиками.

— Боишься?!!

— Нам не о чем говорить.

Рита была без грима, просто и гладко причесана. Между нами летел весь земной шар. Так я подумал.

— Презираешь меня?

— Какое это имеет значение?

— Да, конечно. — Она вынула из сумки зеркальце и посмотрелась. — Загар мне не идет?

Я пожал плечами и неожиданно для самого себя спросил:

— Как твоё здоровье?

— Лучше, — кинула она равнодушно. — Могу быть с тобой откровенной?

Между нами летел земной шар.

— Помнишь, ты мне читал «Человека, который был Четвергом» Честертона?

Я вспомнил сугробы на Пресне, долгие часы у ее постели, кислородную подушку.

— Анархисты собирались в самом людном кафе на площади и громко обсуждали, где и когда убьют короля. Они кричали, и поэтому никто на них не обращал внимания.

— И убили, — бросил я.

— Помнишь?

Я кивнул.

— Считаешь, нам тоже лучше объясниться в этой толкучке?

Почему она со мной разговаривает все время усмехаясь?

— Не бойся, я тебя не скомпрометирую, — она щелкнула зажигалкой и не закурила, закашлялась.

— Каким образом ты очутилась в Болгарии? — спросил я.

— Хочешь знать правду?

— Хочу, — сказал я твердо.

— Приехала поглядеть на тебя.

Напротив нас Янко Ивков вытащил из кармана пиджака брошюрку.

— Соседей опять тряхнуло. Решил 'разобраться, что означают эти баллы по шкале Рихтера. Почитаем, а? — Он, как всегда, был оживлен и менее всего намеревался сеять панику. — «Один балл: сотрясение регистрируемое сейсмографами, но не ощутимое для человека. Два балла: замечается в верхних этажах зданий...»

Глядя мне в глаза, Рита беззвучно смеялась.

— Имей в виду, что я сказала тебе правду.

— «Четыре балла: качаются люстры, скрипят полы и потолки — вибрация как в автобусе, — читал Янко. — Пять баллов: сдвигается мебель, звенят некоторые колокола...»

А как быть, когда сдвигается сердце? Я опять вспомнил ее на коленях в моей комнате. «Женись на мне. Я погибну».

— Наше судно на несколько дней стало на прикол в Бургасе, — сказала Рита. — А я прочла в газете, что ты приехал на кинонеделю, и прикатила сюда, чтобы тебя увидеть.

— Ничего не понимаю! — бросил я. — Какое судно? Почему в Бургасе?

— Исследовательское, гидрометеорологическое. — Она расхохоталась. — Ты не получил мое письмо из Владивостока?

— Никакого письма я не получал. — Ее приступ веселья окончательно вывел меня из себя. — В последний раз, когда я тебя видел...

— Я все поняла. Король убит. Я торжествую, — воскликнула Рита.

— Ты спуталась с каким-то посольским шофером и...

— Король убит, король убит! — повторяла Рита. — Видно, я все-таки чего-то стою, если в Москве не устают сочинять про меня легенды. Да, этот шофер познакомил меня с красавцем атташе, но я послала его к черту. Остальное сплетни. Идиотские сплетни. Я не сбежала за бугор. Я не вышла замуж за старика губернатора. Меня не повесили в Африке. И пойдем лучше потанцуем.

Я поднялся и спросил Риту:

— Что может быть у тебя общего с Жужей и Беном?

— Ничего. Милые пожилые люди. Снимали у нас на корабле для своего фильма. Я им помогала. Вот и все. — Она поглядела на меня грустно и дружелюбно. — Клянусь, меня не повесили в Африке.

Я вспомнил ее давние слова: «В жизни все держится на волоске, все ненадежно. Как уютный свет в самолете или внутри автомобиля... светящиеся зеленые, синие и красные квадратики и стрелочки... Что-то обрывается, и ты во тьме, во власти урагана, холода, боли, смерти!..»

Неунывающий Янко читал:

— «Шесть баллов: спящие пробуждаются, звонят все колокола. Останавливаются маятниковые часы...»

Часы остановились, и все унеслось назад, в домик на Пресне, возникли фантастические тетки — молчаливая печальная Августа, дама-пират Зинаида в осыпанной пеплом тельняшке, прабабушка, машущая слабыми руками в керосиновом чаду.

— «Восемь баллов, — доносится голос Янко, — рушатся заводские трубы и колокольни, летят с гор камни, статуи поворачиваются на пьедесталах и падают...»

«Что с Надей? — закричала во мне тревога. — Почему я здесь?»

Потому что ты бросил в мир поступок, и как от камня, кинутого в воду...

Янко продолжает:

— «Десять баллов: разрушаются мосты, рвутся водопроводы, воды рек и озер выплескиваются из берегов...»

Старый нежный блюз укачивал пары в красноватом сумраке. Черноволосая югославская актриса танцевала со старым Форбертом, уткнувшись носом в его бороду пророка. Рита положила мне на плечо руку, я обнял ее за талию и немного покружил. От ее волос пахло птичьим гнездом, чем-то детским.

— Прабабушка умерла, — говорила Рита. — А Зинаида и Августа до сих пор тебя вспоминают. А помнишь Кузовлева Василия Васильевича, моего школьного товарища, который списывал у меня математику? — Она подняла лицо и снизу поглядела на меня шальными болотными глазами. — Так вот... я его послушалась и махнула в Сибирь, а потом на Дальний Восток.

— Ты авантюристка, — мне стало весело.

— Да, авантюристка, — положила голову мне на плечо Рита. — Но Кузовлев в меня не влюбился. У него замечательная жена и чудесные дети. И сам он... грандиозный человек. Узнав, что на метеостанции у Волика я кое-чему научилась, он отправил меня на курсы гидрометеорологов во Владивосток, и теперь, кажется, я нашла себе занятие по душе.

Она обвила руки вокруг моей шеи. Но тотчас отстранилась. Мы покачивались в красном сумраке. Она продолжала:

— Плаваю на исследовательском судне. Наблюдателем. Мир повидала. Страху натерпелась. Пять раз пересекла экватор. Совсем других людей узнала. Естественно, все это тебя удивляет?

— Пожалуй.

— Короче, — сказала она, — работой довольна, и меня ценят. — И вдруг спросила: — Я тебе неприятна? — Затем взяла меня под руку, и мы пошли через зал. — Это пошло...

Но мы тянемся к тому, кому не нужны... Жаждем сломить несправедливость судьбы. И чем меньше надежд, тем больше жаждем. — Она заглянула мне в лицо и прошептала: — Прощай. Все понимаю. Мы прикончили короля окончательно.

— Рад за тебя, — сказал я искренне. — И приветствую перемены в твоей жизни.

За столиком рядом с собой я обнаружил моего друга консула. Жужа и Бен ушли. Консул глядел на меня насмешливо.

— Улыбайся! — крикнул мне Янко. — Ты много потерял. Мы уже проштудировали конец света. Могу повторить в кратком изложении. Двенадцать баллов: гибнет все, созданное руками человека.

Рита уселась напротив консула и стала смотреть на него немигающим взором. Я покраснел. Мне было стыдно. Чертова Нана из розового домика на Пресне! Это была ее беспомощная месть мне.

Фарфоровый японец в легком белом костюме рассказывал Янко через переводчицу:

— Очень страшно. И плохо. Очень плохо, когда неожиданно. Среди ночи. Прогнозы не всегда точны. Но есть у нас маленькая белая рыбка. Она предсказывает лучше. За сутки, а то и раньше начинает волноваться, выскакивает из аквариума. Здесь нет белой рыбки — это плохо. Но нет цунами и страшных толчков, как в Японии. Это хорошо. У нас все разное. У европейцев траур черный. У японцев белый. Для меня пустота — прекрасна. А вас приводит в отчаяние.

— Здравствуй, хелло! — поднял стакан с вином Янко, подмигивая мне всей своей прекраснодушной красивой рожей. — За черно-белое кино! За добрую белую рыбку! За всех друзей!..

— На юге опять здорово трянуло, — наклонился ко мне консул. — Завтра, наверное, эвакуируют сюда Институт человека.

Неделя закончилась. Гости и участники симпозиума разъезжались. Рита исчезла. С того вечера я больше ее не видел. ОТЕЛЬ на несколько часов совершенно опустел, а потом появились первые автобусы с юга.

В кафе за завтраком я неожиданно встретил Снежко. Он сидел у стойки и что-то быстро записывал на листках помятого блокнота. Он почувствовал, что на него смотрят.

— В чем дело? — спросил.

— Мне кажется, мы знакомы, — подошел я.

— Да, конечно. — Он пожал мне руку. — Я только сегодня прилетел из Москвы. А дня через два придет ваш приятель Сверблов — все-таки уговорил его поработать с нами. Меня не было тут десять дней, и все произошло в мое отсутствие.

Мне было известно, что Снежко вице-директор Международного института человека, и я спросил его, где Надя — на юге или здесь?

Но он этого не знал.

— Если хотите, — сказал Снежко, — поищем вместе. Консул заверил, что эвакуированы все. А я вот не могу понять, куда они девались. Портье утверждает, что никаких иностранных ученых он в отеле не размещал. Правда, наша команда Нобелевских лауреатов не очень академически выглядит.

«Надя! Надя!» — кричал во мне голос тревоги.

Снежко подали сосиски, и он стал жадно есть, как и прежде, похожий в своей нейлоновой курточке на хоккеиста. Меня сжигало нетерпение. Снежко запивал сосиски пивом. Наконец он расплатился, и мы спустились в вестибюль и, наткываясь на разбросанные повсюду чемоданы и вещевые сумки, стали пробираться к конторке администратора.

К нам подошла Каларова. Мы поцеловались.

— Уезжаешь?

— Еще нет.

— Это замечательно. А то всех наших как ветром смело. Очень грустно. Тебе хорошо здесь было?

— По-разному. Но тебя и Болгарию я люблю всегда.

Снежко беседовал с каким-то итальянцем. Это был, как я вскоре выяснил, биолог Нино Петра из Института человека. Он направлялся к выходу. В безукоризненно сшитом, легком сером костюме и светло-серой рубашке, с темным шерстяным вязанным галстуком итальянец выглядел беспечным, но большие тонированные очки не могли смягчить неприятное впечатление от его черных назойливых зрачков гипнотизера.

— Куда так торопитесь, Петри? — Снежко с ним говорил по-французски. — Где остальные?

— Здесь, но их нет дома, а Роллинг в водолечебнице. Это тут рядом. Вам повезло, что вас не было на юге в эти дни... Я лечу в Рим.

— Не очень благородно, Петри. Вам не кажется?

— Вы были далеко, и вам трудно понять. Я оставил у Роллинга для вас письмо. Там изложены мотивы. Не пытайтесь меня отговорить. Я не вернусь. А вы?

«Надя! Надя! — все время хотелось мне крикнуть. — Что с тобой?»

— Надеюсь вернуться со всеми вместе, — сказал Снежко.

— Сомневаюсь, — продолжал Петри. — Вряд ли Шуман, Роллинг и Абрахамс согласятся. Поэтому я должен лететь в Рим. Там я поставлю опыты заново, разумеется, гарантировав приоритет Института человека. Вы спросите, какой мне смысл тратить личные средства? У меня большая задолженность по подоходному налогу. А я его смогу не заплатить, если вложу деньги в научную программу. Простите меня, но я опаздываю на самолет. — Петри снял очки, и его угольные глаза сверкнули.

— Спросите его, где Надя, — вмешался я, удерживая итальянца за рукав.

Снежко спросил. Петри ответил, что этого не знает. И помахал в воздухе очками.

— Не сердитесь на меня. Я хорошо все взвесил.

— Вероятно, — кинул Снежко. — Но мое уважение к вам... как бы это лучше выразиться?..

Тонированные стекла опять прикрыли глаза гипнотизера. Итальянец засмеялся.

— Не торопитесь с выводами. И желаю удачи.

Петри двинулся к дверям. Шофер нес за ним желтые чемоданы.

Мы действительно нашли длинного швейцарца Макса Роллинга в процедурной водолечебницы. Он раздевался, готовясь принять циркулярный душ. Мы со Снежко уселись рядом, отделенные от него невысокой влажной пластмассовой перегородкой.

— Как видите, — доносился голос Роллинга, — я нашел приют в водолечебнице. Я не плохо устроился, а?.. Я пойду?..

Я почувствовал, что швейцарцем овладела внезапная нерешительность. Перегородка внизу была прозрачной. Его босые ноги переступали на одном месте. Снежко спросил Роллинга, что он знает о Наде.

— Мне очень жаль, но... в автобусе, который нас сюда вез, я ее не видел. Может быть, Шуман знает. Или Абрахамс? — высокий срывающийся голос Роллинга был полон неуверенности.

— Что с вами, Роллинг? — спросил Снежко, расстегивая куртку.

— Опять надо пройти мимо этой дамы, — шепотом прозвнес Роллинг. — Видите ее?

Вокруг висел пар.

Мы высунулись из-за перегородки. За маленьким белым столиком в пожелтевшем от влаги высоком колпаке сидела женщина с непреклонным лицом. Роллингу предстояло пройти мимо нее и, преодолев пять — семь метров, стать за матовый экран, где уже бились жесткие струи. Женщина регулировала напор воды.

— Я пойду к душе, а она будет на меня смотреть, — жалобно произнес Роллинг. — И я опять почувствую, что у меня худые дряблые ноги и слишком длинная шея... Пока я иду эти несколько метров, она, мне кажется, понимает все, видит меня насквозь... Единственно о чем она, возможно, не догадывается...

— ...что вы знаменитый математик, — кинул Снежко.

Я опять подумал, какое странное лицо у этого Снежко. Оно живет отдельно от произносимых им слов и происходящих событий.

— Вчера она мне сказала странную фразу, — продолжал Роллинг, топчась на резиновом коврике. — «Вы не герой, но идете дорогой героев». И это в тот момент, когда я раздевался. Как вы думаете, что она имела в виду?

— По-моему, то же самое, что и я, — усмехнулся Снежко. — Человек должен опровергнуть себя. Нам надо всем возвращаться на юг.

— У каждого свой предел, — произнес Роллинг. — Вы меня понимаете?

— Нет, — сказал Снежко. — Никто не знает до конца, на что он способен. Люди задают вопрос: почему остановилось сердце? А мы с вами решили спросить: почему оно бьется, в чем сущности жизни? По-вашему, это не стоит риска? Кто вам прописал циркулярный душ?

— Я сам.

— Вот видите! Хочется опровергать? — Снежко снова высунулся из кабины и крикнул: — Сделайте ему воду похолодней!

Непреклонная женщина за стеной тумана кивнула.

— Ну, Роллинг, идите, идите... опровергайте.

Он на цыпочках шагал во влажных испарениях, худой, дрожащий и мужественный. Чудовище следило за ним с доброй улыбкой. Но этого Роллинг не видел. Он шагнул за экран, и на него набросились десятки ледяных змей.

Математик хохотал.

— А вдруг она осталась там одна... Надя? — спросил я Снежко.

— Не поднимайте паники, — ответил он. — Расспросим сперва Абрахамса и Шумана.

Рене Шумана мы обнаружили в еще более неожиданном месте — на кухне отеля. В синем фартуке из толстой клеенки, вооруженный топором, тучный Шуман, крихтя, разделывал мясо, отделяя его от костей. Вспотевшее его лицо было украшено светло-рыжей бородой и длинными волосами в завитках. Сидя на скамеечке, кротко и с восхищением глядела на него юная особа в белой шапочке, напоминающей пилотку. Каждый удар топором Шуман сопровождал анатомическими пояснениями. Это был урок. Учитель и ученица были равно восхищены друг другом. Неожиданное наше появление Шумана не смутило, однако озадачило молодую особу, в которой я признал Миленку.

— Я предчувствовал, что рано или поздно вы явитесь, — Шуман вытер топор тряпкой. — Посмотрите внимательно на Миленку, моего синеглазого ангела. Можно с ним расстаться? Нет и нет! Ваши аргументы рухнули. Вам не удастся меня уговорить.

— Боюсь, что так, — ухмыльнулся Снежко. — Но объясните, пожалуйста, чем вы тут занимаетесь?

— Учю моего ангела рубить мясо... анатомически обоснованно.

Ангел мило кивнул.

— Она в этом отеле проходит стажировку. Ей всего восемнадцать. И только это меня повергает в отчаяние. — Шуман вытер вспотевший лоб тыльной стороной руки. — Сокровище мое, — обратился он к Миленке, — вы не могли бы принести нам обед сюда, на кухню?

Девушка весело тряхнула головой и скрылась за стеной

из толстых стеклянных плиток, за которой мелькали силуэты официантов и щелкали кассовые аппараты.

— Не ищи в беде ничего, кроме женщины, — заявил Шуман наставительно. — Она даст все. Вчера я не знал, где преклонить голову. Сегодня у меня есть ангел-хранитель. — Шуман снял фартук и мыл ручки. — Надеюсь, вы понимаете, Снежко, что потерпели фиаско?

— Мой товарищ ищет Надю Поливанову, нашу коллегу, — сказал Снежко. — Она приехала с вами?

— Нет, нет, ее не было в автобусе. Возможно, ее эвакуировали позже. Во всяком случае, я ничего о ней не знаю. — Он протянул мне руку. — Рене Шуман. Очень сожалею. Шуман — с ударением на последнем слого.

Миленка принесла на подносе для нас бульон в чашечках и бифштексы и стала расставлять все это на оцинкованном столике, накрыв его предварительно пластиковой скатертью

— Благодарю вас, — сказал я, — но, к сожалению, у меня нет времени... и я сыт.

— Миленка видит, что вы лжете, — бросил Шуман. — Она дьявольски умна, уверяю вас.

Я не заблуждался — Шуман раздражал меня только потому, что, когда я думал о Наде, меня охватывал ужас при мысли о несчастье.

Миленка откупорила бутылку «Хисарской воды» и налила в наши стаканы.

— Ваше здоровье! — Шуман пил большими глотками. — Мне кажется, лаборантов тоже не было в автобусе. Это должно нас всех утешить. Если Надя и осталась, то не одна.

Я не мог есть, куски застревали у меня в горле. Навалившись всей своей тяжестью на стол, Шуман водил пальцем перед носом Снежко.

— Возвратиться на юг? Я восхищаюсь вами, Снежко. Такие, как вы, только и добиваются чего-нибудь в науке. Все знают — это сделать невозможно. Приходит невежда, кото-

рый этого не знает, и делает открытие. В нашем предприятии, в нашем групповом безумии таким невеждой я считаю вас.

— Не преувеличивайте,— бросил Снежко.— Я думаю, все мы были в этом смысле компанией невежд.

— Все равно не уговорите,— захохотал Шуман.— Я обожаю Миленку... уже второй день. Я полюбил этот кухонный вертеп, сытую жизнь опустившегося человека.

Девушка стояла, прислонившись к стеклянной стене, и смотрела на толстяка с восторгом.

— Миленка, он хочет похитить вашего мясника, вашего клоуна!

— Никогда! — смеясь, крикнула девушка.

Ей несомненно было свойственно чувство юмора, она прекрасно говорила по-французски, и, вероятно, ее ожидало блестящее будущее в «Балкантуристе».

Между тем Снежко покрыл уже добрую половину пластиковой скатерти уравнениями и химическими формулами.

— Вот к чему я пришел за эти десять дней в Москве.— Он повернул скатерку вместе с тарелками, стаканами и бутылкой по часовой стрелке, чтобы Шуман мог лучше рассмотреть его клинопись.— Несколько недель работы — и мы приплыли. Но дело не только в этом...

— Не вернусь! — стукнул кулаком по столу Шуман. Снежко не обратил на это никакого внимания.

— Вернуться — значит бросить вызов, послать все страхи и опасности к черту.

— Посмотрите на этого человека! — захныкал Шуман.— Вот такие лишают нас счастья.— Он протянул короткие руки с толстыми пальцами к Миленке.— Вы слышали, мой ангел? Они готовы на все! — Шуман выдохся и тихо попросил девушку: — Разрешите, дорогая, взять мне эту скатерть в свою конуру? Возможно, мне понадобится ее кое-кому показать.

Ни о чем не спрашивая, Миленка молча убрала посуду, свернула скатерть и протянула ее Шуману.

— Если вы не возражаете, — сказал Снежко, — я сам покажу мои каракули Роллингу и Абрахамсу.

— Да, разумеется, — пробормотал Шуман и вдруг расхохотался. — Думаете, уговорили? Черта с два! Миленка, объясните ему, что я не могу вас покинуть.

— Вы меня покинете. — Умное фарфоровое личико девушки стало серьезным. — Когда вошел этот господин, — продолжала Миленка, — я сразу поняла, что нашему маленькому театру на кухне пришел конец.

c

С Абрахамсом Снежко говорил по-английски. Старик тоже ничего не знал о Наде. Но в отличие от Роллинга и Шумана допускал, что она осталась на юге по своей воле, чтобы не бросить подопытных животных на произвол судьбы. Я попросил Снежко связаться с Институтом человека. Снежко спросил разрешения у Абрахамса и стал звонить. Я ждал, сидя в кресле и поглядывая на старого шведа. Длинные седые волосы удивительно шли к его обветренному загорелому лицу. Лежа под пледом, он изучал скатерку с клинописью. Временами он поворачивал голову и с удовольствием глядел на свое сооружение из цветных пластин и полушарий, укрепленных на изящной металлической конструкции. Она стояла на ковре возле тумбочки с ночником, а рядом в плетеной корзине для овощей лежали неиспользованные полушария и другие символы химических элементов. Абрахамс любил «игру с моделями».

Снежко дозвониться не удалось — все телефоны в Институте человека молчали.

— Может быть, попытаться связаться с консулом, — спросил я. — Мало вероятно, но вдруг у него есть какие-нибудь новости?

Снежко кивнул и стал набирать номер. Телефон консула

тоже не отвечал. Абрахамс переместил на своей конструкции два полушария и снова углубился в изучение знаков на пластиковой скатерке.

— Ну, что скажете, Абрахамс? — спросил Снежко, держа трубку в руке и опять набирая номер.

— Мы приплыли рядом. — Старик сел на постели и чуть растерянно улыбнулся. — Кажется, моя игрушка подтверждает ваши выводы. А ваши выводы подтверждают правильность стереохимического размещения элементов на этой рождественской елке.

Все это, разумеется, казалось мне священной, недоступной моему пониманию тарабарщиной. Однако я сообразил, что «елкой» Абрахамс называет свою конструкцию, и она, как и клинопись на пластике, связана с тайной жизни и сущности природного человека.

Снежко положил трубку и включил телевизор. На мягко вспыхнувшем цветном экране появились комментаторы, расположившиеся за овальным столом. Снежко поднял вверх регулятор звука. Мужчины в анилиново-ярких пиджаках, с лицами, покрытыми розовым тоном, обсуждали вопрос: действительно ли в результате землетрясения есть опасность разрушения химических заводов в Средиземноморье? Потом на экране замелькали улицы западных городов, заполненные демонстрантами. Они несли плакаты с требованием положить конец производству оружия массового уничтожения, в частности химического.

«Надя! Надя! Надя!..»

— Вы согласны вернуться на юг, Абрахамс? — донесся голос Снежко. — Вернуться и вместе все закончить?

— Разумеется.

— Вас ничего не останавливает?

— Думаю, что нет.

— Тогда надо уговорить остальных.

— Безусловно, — сказал Абрахамс и пригладил свои платиновые волосы.

Вечером я опять отправился в Несебыр, и встретил консула на перешейке: он возвращался в запыленной «Волге» из Софии, был мрачен. Мы поставили машины у обочины и немного погуляли. Я рассказал ему, что Надя, видимо, осталась на юге, и попросил разрешить мне съездить за ней.

— То есть как осталась?! — возмутился консул. — Что за партизанщина! Теперь еще и ты собираешься морочить мне голову?

Я обиделся и наговорил ему много лишнего насчет бесчеловечности и непонимания моих мотивов. Он заявил, что не может нарушить распоряжение болгар и, толком не разобравшись в ситуации, отправить меня немедленно в угрожаемую зону.

— Но ученые собираются возвращаться, — кинул я.

— Это их дело, — хмуро ответил консул.

Вернувшись в отель, я долго не мог уснуть, читал воспоминания французского режиссера Жана Ренуара, сына великого импрессиониста. За распахнутой балконной дверью шумело море, посвистывал ветер. Я разглядывал фотографии Катрин Гесслинг — первой жены режиссера — в роли Наны. Она смотрела на меня насмешливыми двусмысленными глазами. Я подумал с облегчением, что судьба Риты больше меня не тяготит.

Мне показалось, что светильники под потолком опять качнулись. Я потушил верхний свет и зажег ночник, лежал с открытыми глазами, вспоминал, как провожал однажды Надю к ее подруге, работавшей на старой московской сейсмологической станции, возможно, уже не существующей. Станция помещалась в переулке около Ордынки, в особняке, по соседству с каким-то институтом.

В кафельной белизне глубокого подвала под стеклянным футляром двигались самописцы. А наверху, в комнате с большим старым глобусом, облупившимся телетайпом в углу и световым табло на стенде с приборами, гудел зуммер, и вспыхивала надпись: «Идет землетрясение». Надина подруга

переговаривалась с нами снизу, из подвала. Было все до крайности обыденно.

Она принесла ленту сейсмограммы, чтобы ее проявить и расшифровать. В течение часа надо было сообщить по телетайпу о месте и силе землетрясения в Верховный Совет, Совет Министров, Министерство внутренних дел, ООН, Юнеско. Лента напоминала кардиограмму сердца. По характеру зубцов Надина подруга сразу определяла районы бедствия. Показывая нам старые, голубые и розовые сейсмограммы, говорила: «Это толкнуло в Китае. Видите острые пики? А это на Кавказе. В Индии. На Дальнем Востоке. В Японии». Советуюсь с Надей о каких-то своих житейских делах, женщина выстукивала сообщение на разболтанной клавиатуре телетайпа. Я смотрел на лицо Нади и думал о том, что нас разведет — внезапное несчастье или...

Мысль оборвалась, потонула в зыбкой белизне сна.

...На белой стене появилась Надя. Я показывал консулу слайды. Они менялись, и что-то щелкало каждый раз.

Надя стояла на палубе речного пароходика, в уличной толчее Москвы, возле бензоколонки на Пресне, в синем ливне.

Откуда у меня эти слайды? Я никогда ее не снимал.

— Чего вы хотите? — обращаясь на «вы», спросил консул.

— Спасти ее, — ответил я. — Мне нужен пропуск в угрожаемую зону и машина.

— А хватит у вас сил остаться человеком при столкновении с настоящими испытаниями?..

На белой стене рядом с Надей стоял теперь Снежко с небритым потерянным лицом, держа в руках раскрытый чемоданчик с пачкой денег.

— Это Снежко, вы его знаете, — сказал я.

Консул кивнул. Возникло изображение Нади среди пассажиров пароходика, севшего на мель.

И тотчас изображение сменилось: Надя выглядывала из

под купола парашюта, накрывшего ее в момент приземления. Консул заинтересовался:

- Она прыгала с парашютом?
- Не знаю.
- Хоть бы один раз сняли как следует ее лицо.
- Я вообще никогда ее не снимал.
- Откуда же у вас эти слайды?
- Не знаю. Помогите мне. Я должен ее спасти.

Консул протянул мне пропуск и отвернулся от стены, с которой на нас глядело грустное лицо Нади.

...Мимо меня проносились покинутые людьми домики, стеклянные башни отелей. Они возникали в легком тумане за поворотом шоссе, как фотоснимки в проявителе — колеблющиеся и зыбкие. Промелькнула бетонная церковь, в стену которой уткнулся автобус с выбитыми стеклами. Из окна вылетели куры. Внизу, среди дюн, пропавшая в светлой мгле, бродили коровы и козы. Над песчаными пляжами поселков со следами поспешного бегства, перевернутыми столиками кафе и брошенными машинами, висели едва различимые в небе вертолеты. Я нажал кнопку и слева от меня за ветровым стеклом выползла антенна. Вытесняя музыку, заговорили одновременно на разных языках дикторы:

— Мы получили от властей весьма расплывчатые объяснения... Нам опять заявили в самой общей форме, что эвакуация предпринята в связи с возникшей серьезной опасностью для жизни людей...

Антенна за окном нагибалась под ветром — стальной спиннинг, закинутый в невидимый океан звуков. В асфальтовой пустоте шоссе я мчался на юг.

Спустившись на нижнюю приморскую дорогу, я въехал в маленький покинутый городок. Двери домов были распахнуты, ветер гнал посреди улицы детскую коляску, наполненную пачками денег. Бумажные купюры крутились в пыли вокруг моей машины. Я проехал мимо отделения банка с

разбитыми окнами, выла сирена. Вокруг ни души. В глубине пустого бара кричал телевизор.

Дорога и сам городок с луна-парком у моря мало походил на Болгарию, и это меня тревожило.

Обезумевшая от страха лошадка, запряженная в прогулочный, напоминающий плетеную корзину экипажик, неслась вдоль берега среди набегавших волн. Позвякивая ржавыми цепями, взлетали на ветру качели.

Я миновал карусели и лабиринт и остановил машину перед островерхой кирпичной башней, на стрелках часов которой уселись большие жирные чайки, путая время. Я поигналил. Чайки лениво поднялись и, перелетев через луна-парк, опустились на качели.

Я выпрыгнул из машины и пошел через площадь к стеклянному кубу Международного института человека. Я подумал: все это мне снится, но сейчас же отбросил нелепую мысль. В конце концов, я просто никогда здесь не был, и только поэтому мне кажется, что я попал в странный, покинутый мир другой страны.

Я вошел в пронизанный солнцем стеклянный куб, миновал зал, где стояли телетайпы, похожие неживой суетой клавиш на маленькие механические пианолы.

Я поднялся на второй этаж. Среди безлюдных коридоров и хирургической белизны лабораторий гулко отдавались мои шаги. Я шел все быстрее, подгоняемый тревогой. Меня страшил этот стерильный мир операционных, счетно-решающих устройств, электронных микроскопов, прозрачных шаров и труб.

— Надя! — крикнул я, задыхаясь.

Никто не отзывался.

«Надя, Надя!» — повторило эхо.

Я услышал за дверью чье-то дыхание и замер. Потом до меня донеслось слабое повизгивание.

Я ворвался в помещение для подопытных животных. В клетках ворочались обмотанные бинтами собаки и обезья-

ны. В проволочных сетках, подвешенных к потолку, кишели белые крысы.

— Надя!.. — снова позвал я.

Залаяли и заскулили собаки. Я кинулся к винтовой лестнице и побежал вниз. На площади я прислонился к нагретой солнцем машине, отворил дверь и стал отчаянно сигналить. Снова со стрелок часов поднялись чайки, перелетели ближе к морю и опустились на качели. Ни одной живой человеческой души не отозвалось на мой призыв.

Я побрел к берегу. Лошадка со своим экипажиком из соломы стояла посреди набегавших плоских волн. Они, шипя, облизывали песок и откатывались назад в ленивую пустоту моря. Я остановился, прислушиваясь. Где-то рядом шуршала нежная мелодийка. Сделав несколько шагов, я присел на корточки и увидел зарывшийся в песок транзистор, а рядом следы босых женских ног. Сердце мое гулко забилося. Невдалеке я заметил отпечатки мужских башмаков. Пенясь, набегала волна и запузырилась в углублении следов.

Следы вели к ангару. Я вошел в его прохладную тень. Здесь никого не было. В деревянных козлах стояли водяные велосипеды и узкие длинные лакированные лодки, похожие на скрипки. Я вернулся, поднял транзистор, повертел тумблер настройки.

— «Укрывшихся власти будут рассматривать как мародеров...» — сказал голос.

Я положил транзистор рядом с камнем, которым было прижато к песку легкое женское платье. Я не посмел прикоснуться к нему, вновь испытав ощущение нереальности.

Пена ушла, обнажив следы, и я пошел рядом с ними, и сам не заметил, как оказался в лабиринте с ярко окрашенными стенами.

Здесь я потерял следы и решил вернуться, но запутался в разноцветных коридорчиках, поворотах и тупичках и теперь не знал, как отсюда выбраться. Надо мною в небе проплыл вертолет и растаял в облаке.

Я закрыл глаза, и мне опять показалось, что все это я вижу во сне. Но шум моря и тихое небо, и скрипящий песок под ногами, и потрескавшиеся зеленые и красные стенки лабиринта были такими натуральными, что я понял — это не сновидение, и мне не удастся проснуться, а надо поскорее выбираться из этого таинственного балагана.

Я решил действовать спокойно, запоминая цвета стен и последовательность поворотов. Но это ни к чему не привело, и в конце концов я окончательно запутался, меня охватило отчаяние. Тяжело дыша, я опустился на песок, привалившись к кроваво-красной стене. Солнце стояло над головой. Я обливался потом. До чего нелепо, подумал я, погибнуть от жары и жажды в балаганной ловушке! Я вскочил и подпрыгнул, чтобы перелезть через стену, и увидел вдали женщину с распущенными темно-рыжими волосами, выходящую из моря. Я не был уверен, что это Надя, и подпрыгнул снова, но на этот раз никого на берегу не обнаружил.

— На-а-адя!.. — крикнул я срывающимся голосом.

— Я здесь, — донеслось издали. — Кто меня зовет?

— Я заблудился в дурацком лабиринте.

— Не двигайся. Я сама тебя найду и выведу отсюда.

Но у меня не было сил ждать, и я кинулся ей навстречу, и, спотыкаясь, долго бежал по узкому извилистому тоннелю, и вновь оказался у кроваво-красной стены.

— Где ты? — прошептал я.

— Жди меня, — донесся голос. — Я знаю, ты пришел меня спасти от одиночества...

Мы были разделены стенами балаганного лабиринта.

— Ты решил меня спасти? — произнесла совсем рядом Надя. — И рискнул... своей жизнью?

— Я люблю тебя.

Она умолкла.

— Надя! Надя! — в страхе закричал я, кинувшись на стену, и повис на руках. — Надя!..

Из глубины красного тоннеля, тихо улыбаясь, она шла ко мне с мокрыми распущенными волосами. Я закричал, сорвался с кроватной стены и полетел в пропасть... размахивая руками...

...Я опрокинул на пол ночник и проснулся. В дверях стоял консул. Он зажег верхний свет.

— Ты во сне кричал.

Я свесился вниз, поднял ночник и поглядел на часы.

— Два часа ночи. Откуда ты взялся?

Под окном шумело море, шторм усиливался. Скрипел кипарис.

Консул прикрыл балконную дверь.

— Все нараспашку! — Он потер ладонью рыжий бобрик. — Ты меня прости за вчерашний разговор. Нервы ни к черту. Я все понимаю.

— С каких пор? — спросил я.

На это он отвечать не стал, сказал деловито:

— Переговорил со Снежкой. Даю вам машину. Можешь ехать. Болгары не возражают. И привози Поливанову... хватит ей там одной. А если... беда — звони. — Лицо консула было очень усталым. — Бывай.

Он вышел, а я достал из портфеля диктофон, включил записи и стал быстро говорить, восстанавливая подробности сна.

Полночи пытались мы со Снежкой дозвониться в Институт человека. Но телефоны посылали через горы, мокрые пляжи и сырую тьму лишь сигналы молчания.

Мы выехали на рассвете — ученые в автобусе «Балкан-туриста», мы со Снежкой в «Волге», которую нам дал консул.

Вел машину Снежка. Я сидел сзади и в маленьком зеркальце с убегающей дорогой видел часть асимметричного лица своего спутника, следящего за мной внимательным глазом под косо взлетевшей бровью. Мы не разговаривали.

Снова я был во власти тревоги и нетерпения, жаждал убедиться, что с Надей ничего не случилось.

Заставив себя расслабиться, я вытянул ноги и прикрыл веки.

— По-моему, и вы испытываете некоторую неловкость, — донесся до меня голос Снежко. — Едем, молчим... А думаем, наверное, об одном и том же.

— Об одном и том же? — переспросил я.

— Есть предложение, — сказал Снежко. — Давайте не врать.

— Готовы подать пример? — спросил я.

— Смешно. — Брови его заходили. — Подозреваем друг в друге соперника, что ли?.. Бежим стометровку?!

— Если не врать, — ответил я, — о вас я не думал.

— Допускаю. Но почему уселись на заднее сидение, а не рядом со мной?

«Действительно, почему?»

— Я знал, что вы будете молчать всю дорогу, — насмешливо кинул Снежко. — Пошарьте у себя в пиджаке. Пошарьте, пошарьте.

В недоумении я ощупал свои карманы и вытянул из одного из них записку.

— Что это значит?

— Прочтите.

— «Нас разъединяют чувства, а соединить может разум. Согласны?» — Я наклонил голову в знак солидарности и спросил: — А другим трюкам вас великий Акоюн не научил?

Он рассмеялся с детской открытостью.

— Вы похитили мысль моего фильма, — заметил я. — Только здравый смысл может спасти человечество.

— Каждого из нас отягощает чувство вины, — сказал Снежко, сворачивая на нижнюю дорогу.

В его словах мне почудился тайный смысл.

— Перед кем? — спросил я.

— Моя вина — перед Виктором. Ваша — перед Надеждой Сергеевной. — В наступившем молчании он потребовал откровенности. — Вы с ней расстались?

— Нет... Впрочем... не знаю.

— Я так и думал.

Как в недавнем сне бродили среди дюн одинокие коровы и козы, а в небе кружил вертолет. Медленно выдвинувшаяся антенна извлекла для нас из океана звуков «утешительные» новости о том, что опасность сильных тектонических толчков на юге, вероятно, еще не миновала.

— Почему вы решили, что я испытываю чувство вины?

— Мы условились не врать, — бросил Снежко.

— Когда это касается женщины... — начал я, но он меня перебил.

— Во что бы то ни стало хотите быть деликатным, — брови его, запрыгав, сошлись у переносицы, — то есть лгать?

— Вы сами предложили попытаться быть людьми.

— Не упускайте цели. Для чего? Вероятно... чтобы в создавшихся обстоятельствах каждый из нас сделал разумный вывод.

— В отношении Нади?

— Не только. — Мне показалось, что он подмигнул антенне. — Не следует безгранично доверять оптимизму этого стального прутика... Передохнем?

— Сотню уже отмахали?

— Ровно сто. — Он прижал машину к каменным плитам перед старым болгарским домом с бойницами и железными решетками на окнах. Дом стоял одиноко, привалившись к скале.

Мы вошли в его прохладу и через разрушенные перекрытия заглянули в подвал.

— Когда-то женщины и дети здесь прятались от турков, — сказал я, — пока мужчины сражались, стреляя из бойниц. Дом был крепостью, способной вынести долгую осаду.

— В наш век в подвале не спрячешься! — вздохнул Снежко. И неожиданно спросил: — Вы когда-нибудь задумывались над тем, что такое мужское самолюбие?

— Полагаю, чувство не слишком бескорыстное, — спустился я по источенным ступеням под свод каменного убежища. Ему было пятьсот лет.

— Вот именно, — ответил Над моей головой Снежко. — Мы завоевываем женщину, решаем изменить жизнь, а потом понимаем, что все это счастья нашего не составит. Так было у нас с Надеждой Сергеевной, и Виктор это понял, и мы возненавидели друг друга. А Надя справедливо решила, что нам не суждено стать мужем и женой. Разумеется, я был оскорблен, мое чувство собственного достоинства уязвлено.

Из-под моей ноги с грохотом оборвался камень.

— Поехали?

— Где вы? — крикнул Снежко, словно я потерялся в пятнадцатом веке.

Мы вышли из дома-крепости, и я сел за руль. Нас обогнали несколько грузовиков и автобусов с возвращающимися на юг жителями: из-за тюков и чемоданов глядели усталые детские лица. Какой-то карапуз показал нам язык.

— Виктор однажды сделал то же самое. — Снежко сидел рядом со мной. Брови его прыгали. — Наш эгоизм колеблется между хитростью и мудростью. Эту мысль я тоже похитил. Но не у вас. У Сократа. Вам это лестно? Когда щенок показывает тебе язык... Я должен был принести в жертву неудовлетворенному материнскому инстинкту Надежды Сергеевны... свое самолюбие.

Я гнал машину, слушая Снежко. Он полагал, что воспитывать детей вообще должны профессионалы. Родители слишком часто повторяют в потомстве свои пороки: эмоциональную дикость, агрессивность, предрассудки. А главное — где граница допустимой власти одной человеческой жизни над другой? Разве военачальник не жертвует тысячами, нередко ошибаясь в разумности жертвы? Но ради общего бла-

га. А политик? А писатель, желающий влиять на умы? А врач-экспериментатор? А где предел осмысленной жертвы? И допустимо ли ее принять? Существовала аристократия наследственная, аристократия всадников, ее сменила аристократия денежного мешка, а в наш век, в нашем обществе — что? Аристократия знаний и таланта? Снежко каялся: теперь он понимает бесчеловечность подобного убеждения. Нет, даже самый оригинальный интеллект не имеет права пренебречь интересами, судьбой рядовой личности. Я подумал: не Снежко, конечно, толкнул Виктора в горящую нефть, но подвиг Витяни повлиял на молодого заносчивого высокополобого.

Добравшись до Бургаса, мы перекусили в грязноватом «Кафе аграриев». С потолка свисали клейкие полоски бумаги с умирающими мухами. Аграрии пили густой черный кофе, читали газеты, играли в нарды, с привычным азартом бросая кости на инкрустированные доски. За окнами тянулись грузовики — люди возвращались на юг в свои дома.

Насытившись, Снежко показывал черноусым аграриям карточные фокусы. Мы ожидали, когда освободится телефон. Но это было делом безнадежным: бургасская рыбачка с плачущим ребенком на руках бесконечно отчитывала мужа за то, что он до сих пор спит: «А может, сегодня будет землетрясение?»

Был выходной день, учреждения и почта не работали. Мы отправились в порт, и там, в главной диспетчерской, нам разрешили позвонить.

Но телефон в Институте человека молчал.

Возвращались к машине вдоль причалов. Покойно покачивались на зеленой воде сейнера, вдаль на рейде стояли иностранные сухогрузы и танкеры с белыми высокими, как дома, палубными надстройками. Пахло йодом, нагретым песком, соляркой.

Мы нырнули в духоту накалившейся на солнце «Волги», и я сел рядом со Снежко — была его очередь вести машину.

— Странно все-таки, что ни один из телефонов не отвечает,— сказал он, нажимая на акселератор. Но тотчас ему захотелось нас обоих утешить: — Автобус с компанией Нобелевских лауреатов, естественно, еще не доехал, а Надя... или те, кто там остались, отдыхают, как все трудящиеся. Сегодня воскресенье.

— Вы оптимист, — бросил Яз

Он вывел машину на шоссе, голубоватый асфальт дрожал от зноя. Я высунулся в окно.

— Что там? — спросил Снежно.

— По-моему, у нас барахлит кардан. Надо поглядеть.

— Вон на той площадке, — сказал Снежно.

Машина с трудом одолела подъем, и мы остановились под низким зонтичным деревом. Вышло солнце, море снова стало зеленым. Снежно поставил машину на скорость, а я вытащил из багажника домкрат и ключи, и, присев на корточки, мы принялись за работу.

— Может быть, просто полетел подшипник переднего левого колеса? — сказал я.

— Верно задать самому себе вопрос, — подвигал бровями Снежно, — значит скорей понять ошибку.

— В науке тоже так? — спросил я.

— Уверен в этом. Меняется среда, в которой мы живем, воздух, которым дышим. Возрастают скорости, психические и физические перегрузки, растет насыщенность атмосферы различными видами энергии. Стремительно увеличивается число решений, принимаемых нами ежечасно... Дайте мне съемный ключ, — попросил Снежно. — От последний всеобщего технологического взрыва не отмахнешься. И остановить прогресс науки и техники тоже невозможно.

— А как чувствовать себя спокойно в своей стране, если в соседней происходят экологические деформации? — сказал я. — Или военные испытания?

— Есть запасной подшипник? — спросил Снежно.

Я порылся в ящичке с запчастями и обнаружил завернутый в промасленную бумагу подшипник.

— Вот он. И каковы же цели вашего Института человека?

— Одна из целей — понять связи социального и природного. Избавиться от мифов. Задуман и начат комплексный эксперимент, хотим проследить на разных уровнях взаимодействие среды и наследственности, инстинктов и разума. Но дело не только в этом. Собралась интернациональная компания, возникло углубленное сотрудничество ученых разных стран. Некоторых вы видели. Не все, конечно, но большинство чувствует, что сотрудничество надо отстоять и, если условия окажутся... драматическими, поднять до высоты боевого товарищества... бросить вызов!.. А мы с вами все-таки неискренни, все время друг другу врем, — неожиданно заключил Снежко.

— То есть? — кинул я.

— Дайте вашу отвертку. Не эту... Вы хотите сейчас одного — увидеть скорее Надежду Сергеевну и успокоить себя. — Он вскинул бровь. — Ошибаюсь?

— В общем... нет.

— Так пошлите меня к черту. Окажите услугу. Ей-богу, в этом будет нечто достойное. С машиной я справлюсь сам.

«Надя! Надя!..»

Я шел один среди теплой осенней пустоты дороги. Вдоль песчаного берега моря шагали два ослика без погонщиков. Все вокруг было непохоже на недавний сон и вместе с тем напоминало его. Опять я сознавал, что ни в чем не разобрался при нашем последнем свидании с Надей в Аскании. Я озираюсь и вижу мирную пустыню воды, белые домики вдалеке.

Снежко сказал мне:

— Дальше идите пешком. Отсюда недалеко. И не лицемерьте. Вы первый должны появиться. Идите.

Мозг выталкивает фразу из мелодрамы: «Спаси Надю! Я должен спасти ее и тем самым доказать себе и ей, что способен не только грезить».

Я иду по следам сна.

Все вокруг сейчас иное, однако стеклянный куб Института человека, который теперь поблескивает сквозь деревья, странно знаком. Видимо, я его видел прежде на фотографии в каком-нибудь журнале, хотя, где и когда, вспомнить не могу.

Я огляделся — ни башни, ни часов, но откуда-то поднялись чайки и, неторопливо перелетев, опустились на крышу белого домика возле моря.

С бьющимся сердцем я вошел в стеклянную пустоту института и посмотрел наверх — светильники были неподвижны.

Я заглянул во все помещения первого этажа и, задыхаясь, вбежал на второй. У меня было ощущение, что все это я уже когда-то видел — стерильную белизну операционных и лабораторий с погасшими сигналами счетно-решающих устройств, настораживающую красоту прозрачных шаров и колб, в которых анилиново светились жидкости.

— Надя! — крикнул я.

Но никто не отозвался, только эхо повторило мой голос. И вдруг я заметил на столике возле электронного микроскопа раскрытый лабораторный журнал. Надиным почерком (его я узнал сразу) в нем были записаны показания приборов. Я попытался найти дату, перелистнул несколько страниц, обнаружил странную фразу: «Я решила остаться. Не знаю, выдержу ли. Но не могу поступить иначе. Что бы ни случилось, решение мое добровольно». Я дважды перечел это, чувствуя, как сердце колотится в горле. «Надя! Надя!» — застонал я. И услышал чье-то дыхание и слабое постукивание. Я рванул на себя дверь и очутился в помещении для подопытных животных. За металлическими сетками молча металась обезьяна. Из ящика на меня глядела лежащая

на боку перебинтованная овчарка. Глаза ее слезились. Остальные собачьи клетки были пусты. Явь отделилась от сна. На раскрытой форточке висели женские чулки, а под стулом стояли туфли на высоких каблуках. Я наклонился, чтобы их поднять, собака зарычала, и я не посмел прикоснуться к туфлям. Меня остановил не страх, скорее чувство вины и неловкости перед животным, которое исполняло свой долг, видимо, на пороге смерти.

Я спустился вниз и, оглядевшись, быстро пошел к четырехэтажному кирпичному дому, похожему на гостиницу. Дверь его оказалась запертой. Под кнопкой звонка болталась приклеенная скотчем картонка. На ней крупными печатными буквами было написано несколько слов по-болгарски, смысл которых я не понял. Я позвонил, но никто не открыл. Я пересек дорогу и увидел маленький деревянный ресторанчик с баром и полосатым тентом. Столы и плетеные стулья стояли на песке в его тени.

Я заглянул внутрь, полагая, что на стойке увижу включенный телевизор. Но его там не оказалось. Я опустился на стул передохнуть и только теперь заметил на столике недопитую чашку кофе, какие-то таблетки и смятую сигарету. Я вспомнил, что Надя курит очень редко и насторожился. Мимо бара, стуча копытцами, прошли два ослика без погонщиков, — кажется, те самые, которых я уже сегодня видел. Явь и сон перепутались и не совпадали. Однако к берегу моря я отправился по следам сна и был уверен, что сейчас передо мною возникнут луна-парк и лабиринт с раскрашенными ловушками. Но ничего подобного не произошло. Берег был пустынен. Ветер сметал с дюн песчаные гребни. С шипением, косо и плоско набегали волны, оставляя у моих ног хлопья пены.

Я шел вдоль пляжа без человеческих следов, теряя постепенно надежду.

Наконец повернул обратно, решив возвратиться в поселок. Миновал мазаную постройку у воды, заглянул в двери.

Там лежала шлюпка, а возле нее спала собака с распустившимся грязным бинтом. Явь опять напомнила сон.

Я побежал, споткнулся и замер. Между осыпающимися дюнами, окруженная псами, плясала женщина в развевающемся белом лабораторном халатике. Это была Надя. Она меня не видела, а я смущенный и растерянный глазел на нее, не смея окликнуть.

Это было невероятно. Менее всего я ожидал ее найти пляшущей среди перебинтованных собак из моих снов.

Псы крутились возле Нади, радостно повизгивали. А моя строгая ученая дама с лицом из потонувшего мира танцевала для них, забрасывая вверх руки.

Как совместить это зрелище с обликом Нади в Аскании, с потаенным драматизмом нынешнего нашего положения? И вообще, что теперь мне делать? Появиться и окликнуть? Или ждать, присутствуя при чем-то для Нади глубоко интимном, детском, очаровательно нелепом? Я счел за лучшее появиться, шагнул вперед и громко крикнул:

— Надя!..

Она обхватила руками плечи и поглядела на меня, как на привидение.

Я подошел ближе.

— Вы?!..

— Я приехал за тобой, — впервые назвал я Надю в глаза на «ты».

— Как?! Зачем? Я не понимаю...

— Чтобы спасти тебя.

Мне почудилось: я кинулся к ней и среди усилившегося острого ветра обнял и стал целовать, повторяя: «Я люблю тебя... Люблю... Люблю!..»

Короткое сновидение наяву обрывается, и я слышу свой охрипший голос:

— Разве ты куришь?

— Иногда, — отвечает Надя, — очень редко. Зачем вы приехали?

— За тобой. Увезти тебя отсюда.

— Не верю!.. Какое блаженство почувствовать себя круглой душой.

Мы возвращались к зданию Института человека во главе процессии собак с перевязанными шеями и мордами.

Потом в помещении для подопытных животных Надя их кормила, меняла подстилки. Собаки ели кашу. Обезьяны пили из леечек чай. Я смотрел на нее издали. Волосы ее были повязаны марлевым тюрбаном. Она переходила из помещения в помещение, записывала показания датчиков, самописцев, проверяла температуру в термостатах, переливала из пробирок в колбы какие-то жидкости, рассматривала осадок, снова записывала данные прибора, молча поглядывая на меня, понимая мое нетерпение. Ведь мы еще даже не поговорили толком. Но моя необыкновенная женщина была педант. Я вспомнил о Снежке и с досадой подумал, что он скоро явится. Угадав мою мысль, Надя раскинула руки и произнесла:

— Сегодня самый странный, самый грустный, самый счастливый день в моей жизни!..— Над ее головой, познавая, раскачивались светильники.— Час! День! Великий подарок! День жизни!..

А может быть, мне только показалось, что она произнесла слова, однажды уже сказанные во сне? Я взял из рук Нади лабораторный журнал и раскрыл его на странице, где было написано ее рукой: «Я решила остаться. Не знаю, выдержу ли...»

Она покачала головой, перелистнула страницу.

— Я действительно не могла в тот момент поступить иначе...— Она взяла меня за руку.— Не надо... сейчас об этом. Как ни странно, это отчасти связано с вами... с тобой... Но не надо!..

Меня не покидало ощущение нереальности, хотя все, что Надя говорила и делала, было вполне будничным и естественным. Мы вышли из института, остановились перед кирпич-

ным домом. Надя сняла с шеи ленточку, на которой болтался ключ, отворила дверь, мы поднялись в ее комнату с аспарагусами на окне, книгами, рукописями и лампой у тахты, накрытой болгарским паласом.

— Есть хочешь? — спросила Надя.

— Нет.

— Ты, вероятно, уже понял, что я не могу с тобой сейчас уехать.

— Я дождусь Снежко, — поглядел я на маленькую люстру под потолком. — Если ты твердо решила, мыждемся его и всех остальных.

— Спасибо, — сказала Надя. — Я должна вымыться. От меня пахнут собаками. — Она сбросила в коридоре лабораторный халат и скрылась за дверью ванной. — Я много думала о нас с тобой, — донесся ее голос. — Я осталась здесь одна не только ради подопытных животных и начатого замечательного эксперимента. — Послышался плеск воды, и она продолжала: — Я должна была совершить поступок, чтобы доказать тебе... Мне легче в этом признаться, когда ты меня не видишь, — я всегда тебя любила.

Я прижался лицом к двери и, задышав, пробормотал:

— И я... и я должен был с тобой разделить опасность. Мы оба ужасные идиоты. Ты моя единственная, моя прекрасная нелепая женщина.

— Закрой шторы и не смотри на меня, — сказала Надя.

Она вошла, и в этот момент нас качнуло. Качнуло бесшумно. Мы оба посмотрели на люстру.

— Четыре балла, не больше, — сказал я почти беспечно.

— Останемся здесь? — спросила она. — Или спустимся вниз?

— Останемся, — обнял я ее похолодевшие плечи.

Она легла рядом со мной и прошептала:

— Опасность и одиночество заставляют смотреть на все

проще и мудрей. Все куда-то уходит — обиды, гордость... Обними меня крепче...

Она разрыдалась, дрожа в моих объятиях.

— На всю жизнь! На всю жизнь!.. — Я сжимал ее усталое, измученное страхом тело.

Где-то, хрустнув землею, ударила подземная магма, донесся далекий гул. Где-то кричали люди и звери, рушились дома, колебались камни храмов, в дыму и пепле взламывались горы. Водяные хребты цунами смывали с берегов беззащитные человеческие жилища.

— Рада, рада тебе, рада, — шептала Надя, уткнувшись влажным от слез лицом в мое плечо.

— На всю жизнь, на всю жизнь! — повторял я.

Лампа под потолком перестала раскачиваться. Сквозь зеленые занавеси с разводами проникал зыбкий свет. В аквариуме, посреди которого мы очнулись, плавали розовые и синие рыбы. Была тишина. Надя сказала:

— Наверное, каждый человек должен научиться жить рядом с опасностью. И радоваться жизни. Всякому подаренному судьбой дню — пасмурному, солнечному, печальному, счастливому. — Ее голос дрогнул. — Спасибо тебе.

Некоторое время мы лежали молча. Потом послышался автомобильный гудок. Надя выскользнула из постели и, накинув халат, подошла к окну. У стеклянного куба института остановился автобус. Из него вышли Шуман, Абрахамс, Роллинг, лаборанты и несколько болгарских ученых. Я стоял позади Нади и целовал ее распустившиеся темно-рыжие волосы. Надя обернулась, произнесла виновато:

— Я должна... понимаешь? А ты можешь полежать или пойти в бар и сделать себе кофе. А я потом тебе приготовлю обед.

— Нет, — сказал я, — скорей заканчивай свои дела... Тебе еще надо собраться.

— Да, да... Ты уверен, мы уедем?

— Хочешь, я соберу твои вещи? И сделаю это вполне квалифицированно, помня, что моя любимая дама — педант.

Я опустился перед ней на колени и обнял ее ноги. Тогда и она села на пол и, прижав ко мне, прошептала:

— Пожалуйста, не презирай меня за то, что я так рационально с тобой расправилась... Но так и полагается педанту, правда?

— Конечно. Я тоже знал, с кем связываюсь.

— Странный день... — произнесла она. — Спасибо... что ты приехал... меня спасти.

Она вскочила и побежала в ванную одеваться. Я вернулся к окну. Шуман и Абрахамс прохаживались по площадке перед стеклянным кубом и смотрели на Надины окна. Меня они видеть не могли — я стоял за занавесью.

— Платья мои сможешь уложить? — донесся голос Нади.

Она появилась в черном свитере и джинсах, с сигаретой в зубах и все еще распущенными волосами. Вид у нее был хулиганский. Она сказала:

— В наш век надо быть стойком. Чемодан в передней. Мелочи в ванной я сама потом сложу. А все остальное... — она не стала перечислять, а просто распахнула дверцы стенного шкафа, выдвинула ящики, указала на книги и рукописи. — Постельное белье и палас казенные. Не пытайся захватить. — Закрутив на руке волосы, она уложила их низким пучком и сколола костяными шпильками. — Странный... удивительный день, — повторила Надя и покинула наш аквариум, в котором ныряли зыбкие рыбы.

Складывая в чемодан Надины вещи, я еще раз смог убедиться в ее терпеливой систематичности: чулки, белье и обувь — все лежало в пластиковых мешочках, а рукописи в больших конвертах и папках. Прилив преданности и неж-

ности заставил меня опять поглядеть в окно. Надя подошла к Абрахамсу и Шуману, которые прогуливались возле автобуса. Шуман поцеловал ее, что-то воскликнул. Несомненно, это была острота, нечто вроде: «Дитя, на Солнечном Берегу в кухонном вертеле я полюбил другую женщину, пленительную Миленку из «Балкантуриста». И теперь у меня разрывается сердце!» Закинув голову, он закрыл лицо рукой, а Надя рассмеялась. Абрахамс задавал ей какие-то вопросы, видимо, делового характера. Лаборанты выносили вещи из автобуса. Двое из них с кожаными сумками направились к дому. А я все не мог оторваться от немного кино за цветными занавесями. Шуман взял Надю под руку и вместе с Абрахамсом они вошли в здание института.

Потом я подошел к другому окну и увидел сверху среди деревьев несколько пожарных и санитарных машин. Парни в белых и брезентовых робах завтракали на траве. Спасательная команда, вероятно, оставалась здесь все время с начала сейсмической угрозы — пустота была населенной. Но я этого самонадеянно не заметил. Посмеиваясь над собой, я складывал Надины платья, когда к стеклянному кубу подъехал в «Волге» Снежко. Все вышли его встречать. С Надей он поздоровался за руку, и они стали говорить, поглядывая на окно. Я был убежден, что они обсуждают предстоящий наш отъезд. Я решительно не испытывал никакой ревности — только волнение. Впрочем, я был уверен, что Снежко согласится отпустить Надю, хотя бы на время.

Через полтора часа это подтвердилось. Надя вернулась и сказала растерянно, что мы можем ехать. Взглянув на нее, я понял: она что-то недоговаривает.

Надя бегло оглядела пустую ванную комнату, пустые шкафы и полки, полила аспарагусы и села на краешек тахты.

— Ты все сложил? — спросила она. — Маленького портфельчика с документами не видел?

— Нет.

— Вероятно, в институте куда-нибудь засунула... Может быть, перед дорогой надо тебе поесть?

Я взял ее за руки, поднял и прижал к груди.

— Скорей уедем отсюда.

— Хорошо, хорошо,— прошептала она и поцеловала меня.

Я почувствовал, что ей хочется побыть одной, с чем-то проститься.

— Я пока отнесу чемоданы,— сказал я.

— Да, спасибо,— ответила она.

Взяв вещи, я спустился по лестнице, не оглядываясь, миновал палисадник, деревья, пересек площадь, открыл дверцу машины и засунул внутрь Надино имущество. Из здания вышел Снежко и молча протянул мне ключи от зажигания.

— Итак,— сказал я,— вы остаетесь, а я...

— Надо себя опровергать,— поиграл бровями Снежко.— Опровергать. Человеческое естество консервативно. А мир меняется с дико возрастающей скоростью... и не только к лучшему.

Появились Абрахамс и Шуман. Стояли на ветру в белых халатах, отбрасывая на каменные плиты короткие тени. К машине подошла Надя.

— Чемоданы в машине,— сказал я.

— Чемоданы! — напряженно улыбнулась она.— Звучит глупо сейчас, правда?

— Дитя! — воскликнул Шуман.— Это звучит ужасно. Сознаю, сознаю свою вину.— Он не мог не развлекаться.— Клянусь тебе навсегда забыть пленительную Миленку из «Балкантуриста», только не покидай нас!

— Я куда-то засунула портфельчик с документами и деньгами,— сказала Надя и побежала к подъезду института.

Поднявшись на второй этаж, она опустилась посреди

лаборатории в кресло на стальных ножках и обхватила плечи руками. Я видел ее через стеклянную стену. Снежно, Абрахамс и Шуман молча стояли на ветру в разных концах площадки. Я почему-то замахал руками, и над кубом института поднялись большие взъерошенные чайки и полетели к берегу.

Надя прошла вдоль прозрачной стены в помещение для подопытных, сменила воду собакам и обезьянам и стала рыться в своем шкафчике.

Прощание затягивалось. Минута была трудной для всех.

Я открыл дверцу и сел за руль. В стеклянных дверях появилась Надя, помахала портфельчиком. Все подошли к машине. Шуман обнял Надю, Абрахамс, а затем и Снежно поцеловали ей руку. Длинный Роллинг выбежал на площадку в последнюю минуту и, смущаясь, похлопал Надю по плечу.

— Мы надеемся, — сказал он, — что вы немного отдохнете и вернетесь к нам.

Надя села рядом со мной, я включил мотор. Ветер поднял седые волосы Абрахамса. Когда я разворачивался, Надя высунулась в окно и крикнула, чтобы не разрыдаться:

— Собак водите к морю... И немножко с ними играйте.

Я переключил скорость, замелькали деревья, и стеклянный куб в зеркальце исчез. Для меня навсегда, решил я.

Она надела темные очки, и я не вижу ее глаз. Но чувствую — она страдает. Ревет мотор, я гоню сто десять в час, пока нет гор и серпантина. Слева мелькают сливовые деревья, а за ними тянутся по склону виноградники: пыльно-красные, серо-янтарные. Справа внизу белеют поселки, до-

мики сбегают к самому морю, вспаханному ветром. В небе кружат два вертолета. Мы несемся через площадь маленького городка, мимо церкви, в стену которой уткнулся старенький автобус. Из его окон, как во сне, вылетают куры. Навстречу нам проносится длинный семиместный пикап. Надя высовывается из окна.

— Там наши, — кричит она мне. — Левинский, Бачачек, Миклош. Они возвращаются. Остановись! Ты видишь? Там Свэрблов... Свэрблов!.. Скорей догони их.

— Зачем? — спрашиваю я, выезжая на шоссе.

— Догони, прошу тебя.

— Не вижу смысла.

— А если я тебя возненавижу? — вдруг произносит она.

— Мне придется выдержать и это. Ради тебя.

Машина ныряет в тоннель. Я включил фары. По лицу Нади пробежали полосы света. Она припала щекой к моей руке, сжимающей руль, беззвучно умоляя повернуть обратно.

Но я не поворачиваю.

Вечером мы молча поели в деревенской харчевне, и я один пошел к виноградникам.

Женщины положили мне в целлофановый мешочек несколько гроздей душистых черных ягод, и я отнес их Наде. Когда мы снова тронулись, в окно кто-то бросил цветок. Я обернулся. Вслед нам при свете костра махала рукой маленькая девочка.

Я опять гнал машину с отчаянной скоростью, точно это могло спасти Надю от муки. Да, она мучилась, я это видел, хотя мы больше ни разу не заговаривали о возвращении.

Не останавливаясь, мы миновали Бургас, и я свернул на дорогу к Велико Тырново. Я хотел, чтобы Надя увидела этот город, врезанный в скалы.

В Сливене с почтамта я дозвонился консулу,* все ему рассказал о себе и Наде, и мы условились, что через несколько дней встретимся в Софии, и тогда я верну «Волгу».

Мы мчались на северо-запад, внутри машины было тепло, светились стрелки часов и спидометра, и наша маленькая цивилизация не собиралась гибнуть. Я включил приемник, нашел нежную музыку и сказал Наде: «Спи». Она сжала мою руку и закрыла глаза. Ее лицо из потонувшего мира было строго и спокойно.

К счастью, было мало встречных машин, и я снижал скорость только на переездах и в поселках. Мы пронеслись сквозь неоновые огни Голямо-Шивачева, Твердицы, Гуркова. Надя спала, а я, погибая от любви, нарушал безбожно в ночи правила движения.

Добравшись до Калифанова, я остановился, вышел из машины и немного побегал под высоким фонарем, бросающим голубоватый свет.

В Дебелеце я снова сделал передышку. Темную площадь пересекали тяжелые машины с потушенными фарами. Железный гул и холодный ветер, поднявший листья, заставили меня поскорей нырнуть в тепло автомобиля, пахнувшее вином и Надиной косметикой. Я поцеловал ее сонное лицо, увы, принадлежавшее сейчас не мне, а смятенной ее душе.

Мы добрались до Тырнова глубокой ночью. Я остановил машину у подъезда знакомой маленькой гостиницы и несколько минут сидел, закрыв глаза, не в силах подняться. Было слышно, как в тоннеле, прорезавшем тырновскую гору, бежал поезд. Надя спала. Я не стал ее будить, оставив свет подфарников, тяжело вылез и позвонил в дверь отеля. Мне открыла черноглазая девушка, похожая на грузинку, и сообщила тихим голосом поразительную новость: есть свободные номера.

Мы устроились с Надей в двух соседних игрушечных ком-

натках с кроватями и стульчиками из светлого дерева и нежно-желтыми занавесями на окнах.

Надя распахнула теплую желтизну ткани и высунулась в сырую темноту. Внизу лежал туман, свистел поезд, из тоннеля выбегали огни вагонов.

— Наше жилище на самом краю обрыва, — таинственно сообщила Надя. — Я не хочу спать. Пойдем погуляем по городу. Ты как?

— Бодр как никогда, — солгал я.

Мы взяли с собой мешочек с виноградом и отправились.

Дежурная внизу поглядела на нас с пониманием.

Столицу древнего болгарского царства заливал бессонный люминесцентный свет. Мы долго бродили с Надей по пустым улицам-мостам, улицам-лестницам, повисшим над пропастью, в сухих крошечных садах, глядели на освещенные витрины магазинов, на маленькие церкви и домики модерн и стояли на старом мосту, на котором когда-то были торговые ряды. Фонари погасли. Взошла луна над развалинами дворца болгарских царей и останками дикого турецкого поселения.

Вернувшись в гостиницу, мы быстро уснули, и опять под нами в тоннеле шумел поезд.

Среди тырновской ночи нас разбудило радио, загремевшее где-то внизу, безжалостно прикончив наш покой.

Утром мы узнали подробности. На юге, в районе Средиземноморья, вновь произошло сильное землетрясение. Разрушены иностранные химические заводы, которые в глубокой тайне производили составные части смертоносного оружия. В результате взрыва вырвалось зловещее желтое облако, и ветер относит его на северо-восток. Недавние газетные намеки и предположения обернулись явью. Я вспомнил ночного посетителя Веселовских в Бухаресте, его схемы и показания.

Теперь здоровье, жизни и смерть сотен тысяч людей зависели от направления ветра.

Сообщалось также, что ученые из Международного института человека отказались вторично эвакуироваться — причины комментаторы толковали по-разному. Одна из версий показалась мне самой невероятной, но и наиболее правдивой. Компания Нобелевских лауреатов решила самым фактом своего присутствия на берегу заставить правительство «Х» признаться в преступлении против человечности и международного права. Старый Абрахамс, тучный неунывающий Шуман и боязливый Роллинг решили бросить вызов. Все это поразило меня не меньше, чем Надю. И во мне проснулся кентавр.

Я кинулся в свой номер и достал из портфеля диктофон. Опять жили внутри меня два существа: страдающий человек и профессиональный сочинитель фильмов.

— Сюжет «Трибунала», — торопясь, диктовал я, — получает неожиданное сцепление с реальностью. Судьба сотрудников Института человека — ученых и женщины, которую ищет и находит один из героев, впоследствии свидетель на процессе, должны стать новеллой первой части триптиха: любовь осветит борьбу за жизнь и спасение цивилизации. В этой новелле я сумею сказать, что личность утверждает себя поступком.

В дверях стояла Надя и смотрела на меня так, словно я занимался каннибальством. Но я не мог остановиться и продолжал быстро говорить в забранную решеткой раковину микрофона:

— Я вижу Шумана, Абрахамса, Роллинга и, конечно, Сверблова с головой льва на берегу. Они лежат в пезлонгах, укрывшись плащами и пледами, и, глядя в море, болтают о пустяках — наивные гении шантажируют правительство «Х»...

Прорезая тоннель, шумел внизу, в горе поезд, его гудок погасал над древней болгарской столицей. Шли где-то не-

объявленные войны. Летело над морем желтое облако. Лежали в шезлонгах, на песчаном островке среди воды мужественные высоколобые.

Я опять вспомнил стихи и тоже продиктовал их:

Мчались звезды. В море мылись мысы.
Слепла соль. И слезы высыхали.
Были темны спальни. Мчались мысли,
И прислушивался сфинкс к Сахаре...

Я все еще занимался каннибальством. Надя сказала:

— Я должна вернуться.

— Я тоже, — ответил проклятый кентавр.

СОДЕРЖАНИЕ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ	3
ЧАСТЬ ВТОРАЯ	96
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ	174

Спешнев А. В.
С 71 Триптих: Повествование в трех частях. — М.: Советский писатель, 1986. — 240 с.

А. Спешнев — известный советский кинорежиссер и писатель, лауреат Государственной премии СССР. Читателя его имя знакомо по фильмам «Тахир и Зухра», «Москва — Генуя», «Миклухо-Маклай» и другим.

В новой повести А. Спешнев обращается к проблеме войны и мира, нравственных основ взаимоотношений людей, ответственности человека за свои поступки перед обществом и историей. Автор рассматривает эти вопросы сквозь призму отношений двух людей — кинорежиссера и ученой, занимающейся проблемами высшей нервной деятельности.

4702010200—436
С _____ 146—86
083(02)—86

ББК 84. Р 7

Алексей Владимирович Спешнев

ТРИПТИХ

М., «Советский писатель», 1986, 240 стр.
План выпуска 1986 г. № 146

Редактор *Н. Ю. Ковалева*
Худож. редактор *Е. Н. Балашева*
Техн. редактор *Н. В. Сидорова*
Корректоры *Т. В. Малышева* и *С. Э. Михайлина*

ИБ № 5372

Сдано в набор 26.04.85. Подписано к печати 04.12.85. А06553. Формат 70×108¹/₃₂. Бумага тип. № 1. Обыкновенная новая гарнитура. Офсетная печать. Усл. печ. л. 10,5. Уч.-изд. л. 11,29. Тираж 30 000 экз. Заказ № 335.

Цена 85 коп.

Ордена Дружбы народов издательство «Советский писатель», 121069, Москва, ул. Воровского, 11

Тульская типография Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательства, полиграфии и книжной торговли, 300600, г. Тула, проспект Леккина, 109

83 коп.



